АЛЕКСАНДР БРЕНЕР

ЗАГОВОР ГОЛОВОНОГИХ

МЕССИАНСКИЕ РАССКАЗЫ



18+

Содержит
нецензурную
брань

КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ



АЛЕКСАНДР БРЕНЕР

ЗАГОВОР ГОЛОВОНОГИХ

МЕССИАНСКИЕ РАССКАЗЫ



ГОРОДЕЦ
ФЛЮИД

Москва • 2020

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6
КТК 610
Б 87

Бренер А.

Б 87 Заговор головоногих. Мессианские рассказы : [эссе]. — М. : ИД «Городец-Флюид», 2020. — 224 с. — (Книжная полка Вадима Левенталя).

«Литература — это аппарат, институции, культурная среда, сволочь.

Но мы говорим о другом: об одиноком бродячем поэте.

Осталось ли ему место на этом свете?

Кто знает...

Осталось ли ему место в литературе?

Неизвестно».

ISBN 978-5-907220-46-1

© А. Бренер, 2020
© ИД «Городец-Флюид», 2020
© П. Лосев, оформление, 2020

Я вспоминаю одних и тех же людей и одни и те же дела и чувствую, как тревоги сменяются успокоенностью.

Леон Богданов

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В этой книге собраны эпизоды, которые я назову мессианскими.

То есть это такие случаи, когда жизнь — странный брак счастья и несчастья — приносит в мир дитя, что не от мира сего.

Приведу пример-воспоминание.

Однажды в давние времена я ехал в душном и тряском поезде, пересекая огромную безрадостную страну, и мои соседи по купе кричали, пили горькую и ели что-то очень пахучее, а я лежал на верхней полке и изнемогал от шума и одиночества, и вот в самый безысходный и тоскливый момент, когда мне уже хотелось рвать на голове волосы, поезд внезапно встал неизвестно где и стоял неизвестно почему, а я вместе с несколькими пассажирами спрыгнул с подножки вагона на зелёный луг, и увидел вдалеке тёмный лес, и задышал вольным воздухом, и дорожная одурь сошла на нет, и я вгляделся в открывшийся мир и подумал что-то вроде этого: «А почему бы мне не остаться здесь, и не пойти в тот лес, и не найти там избушку на курьих ножках с котом в сапожках, а на избушке будет сидеть жар-птица, а в избушке — чудо-девица?»

Вот такое ощущение я и называю мессианским, и об этом написал серию рассказиков, собранных здесь под смехотворным заглавием.

«Заговор головоногих» — что ещё за невидаль?

Возможно, это всего лишь совокупность восхитительных синонимов: бабахнутый, с приветом, со странностями, дикая, завёрнутая, мозги набекрень, с присвистом, тараканы в голове, ненормальный, с причудами, потусторонний, отъехавший, неординарный, ушибленная, с заскоками, сама не своя, неземная, с чудинкой, с закидонами, не дружит с головой, какой-то не такой, чудацкий, казусный, не такая как все, стебанутая, с простинкой, с придурью, чекалдыкнутый, с бзиком, кучерявая...

А может, это неумелое признание в любви к тем писателям, художникам и странным созданиям, о встречах с которыми я на этих страницах рассказываю?

Или, как выразился один автор, это «чудеса, могущие происходить и в самой спокойной обстановке»?

В любом случае: заговор головоногих — не совсем человеческое предприятие, а скорее ослиное, если вспомнить ту длинноухую бестию, на которой странствовал Ходжа Насреддин: она однажды встала посреди дороги и ни за что не хотела сдвинуться, несмотря на все просьбы и поношения хозяина, и в глазах её просияла такая благодать, что Насреддин моментально понял своё собственное предназначение: хитрое и храброе непослушание.

В сущности, заговор головоногих не хочет никаких объяснений, а только своё вечное возвращение и становление.

Приведу третье (после поезда и осла) транспортное сравнение, подсказанное мне дружественным читателем: «Иногда стоишь на остановке в мёрзлых сумерках и ждёшь трамвай, а он всё не идёт и не идёт, и ты уже окончательно расстроился и близок к исступлению... и тут он вдруг из-за угла появляется, весь залитый светом, нездешний, с весёлым дребезжанием, — и это уже не трам-

вай, а какая-то машина времени, на которой можно ехать то ли в прошлое, то ли в будущее».

Вот это и есть мессианское присутствие.

Тешу себя надеждой, что хотя бы одна моя читательница найдёт в этой книжке такой трамвай и отправится на нём в правильном, то есть ослином, направлении.

ЗЕЛЁНАЯ ПАЛОЧКА

Давать всплыть воспоминанию
во всю ширь, до содрогания.

Леон Богданов

1. Мы сейчас живём на двадцать четвертом этаже в одной из немногих высоток Цюриха.

Здание построено в духе умеренного брутализма — железобетонный пенал в вертикальной позиции.

Здесь обитает разношёрстая публика: пенсионеры, эмигранты, студенты, офисные служащие.

Жильё сдала нам женщина, уехавшая на несколько месяцев в Каир.

Она там снимает какой-то документальный фильм.

Нам очень нравится это временное пристанище: две просторных комнаты и балкон-лоджия.

Обстановка тут минимальная: рабочий стол, диван и журнальный столик с двумя креслами в жилой комнате; кровать и стенной шкаф — в спальной комнате.

В прихожей книжные полки с немецкими книгами.

С балкона открывается вид на полгорода, на непарадную часть Цюриха: прямо под нами троллейбусное депо, далее стройка, стадион, старое здание бойни, железная дорога и бетонный мост автострады, ещё одна

стройка с подъёмными кранами, зелёное поле с частными огородами, ну и так далее.

А по бокам — зелёные холмы, испещрённые домиками.

И над всем небо — огромное, переменчивое.

Когда лежишь на диване, только это небо и видно в широком окне.

Как здорово, оказывается, на такой верхотуре жить!

Беспокоит одно: приедет хозяйка и выставит нас на улицу.

Это может случиться через неделю, месяц или два.

2. Когда мы вселились сюда, я целыми днями сибаритствовал.

Ничего не делал — даже не мечтал, не вспоминал.

Просто бездумно полёживал.

Лентяя праздновал.

Раньше я пугался таких эпизодов праздности.

А сейчас им радуюсь.

Хорошо забыть обо всём, что было и есть.

3. Вот так я и валялся на диване утром, когда в дверь раздался звонок.

Я был один — Варвара ушла за хлебом в магазин.

Я, разумеется, никого не ждал и немножко струхнул.

Вдруг это какое-то домоуправление или, не дай бог, полиция?

Я живу без документов, без всякого вида на жительство.

Поэтому вместо того чтоб открыть дверь, я замер, чтоб не произвести и шороха.

Но звонок повторился: тигли-бом.

И почему-то я решил открыть — сам не знаю почему.

4. На пороге стояло существо — небольшого роста, тоненькое, в пиджаке и штанах.

Но лицо существа не было человеческим, а скорее звериным и каким-то нарисованным: острая мордочка с длинной красной линией рта, пуговкой-носом и двумя большими круглыми глазами, глядящими мимо меня.

Эти глаза с длинными девичьими ресницами казались одновременно наивными и много повидавшими — странное впечатление.

Кожа существа была сплошь покрыта веснушками.

На голове — копна рыжих спутанных волос.

Я не мог понять: парень это или девушка.

На вид ей было лет двадцать пять.

Тут пришелец заговорил по-английски тихим сладким голосом:

— Извините меня, пожалуйста, за внезапное вторжение, но я проходила мимо вашего дома и вдруг почувствовала неотвратимое желание подняться наверх и посмотреть на окрестности. Знаете, иногда у меня возникает такое ощущение, что мне обязательно нужно увидеть мир с высоты. Поэтому я осмелюсь попросить вас об одолжении: могу я выйти на ваш балкон и оглядеться вокруг?

Закончив эту речь, существо улыбнулось — нежно и доверчиво.

Я был тронут просьбой и сказал:

— Конечно, заходите, прошу.

— Спасибо, — прошептало существо бархатным голосом.

В прихожей оно огляделось:

— У вас хорошо.

В этот момент я заметил, что гость держит в руке какой-то предмет.

Это была палочка — вроде тех, которыми едят в китайских ресторанах, только подлинней.

Этакая зелёная палочка, как будто её натёрли травой.

О, какие длинные, бледные, острые пальцы держали эту палочку!

Существо уловило мой взгляд и промолвило:

— Это мой талисман, я всегда ношу его с собой. Это моя волшебная палочка. Но если вы хотите, то можете подержать её, а я пока выйду на балкон.

Мы уже стояли перед открытой балконной дверью, и нас обдувал ветерок.

— Может, вы хотите чего-нибудь? Яблоко или стакан воды? — спросил я.

— Нет-нет, — поспешило отказаться существо. — Благодарю вас. Я хочу на балкон.

С этими словами оно протянуло мне палочку, и я её взял.

На ощупь палочка была шероховатая.

Существо проскользнуло на балкон.

— Спасибо большое, — сказало оно.

Чтобы не смущать гостя, я тут же ушёл в спальную комнату.

Там я провёл, наверное, минут пять, разглядывая зелёную палочку.

Потом вернулся назад.

Моего гостя нигде не было.

Я подошёл к балконной двери и посмотрел.

Никого.

Я вышел на балкон.

Вокруг только небо — высокое, безоблачное.

И тут я схватился за перила и поглядел вниз — с нашего неописуемо высокого двадцать четвертого этажа.

Ох!

Там, на земле, виднелся газон с зелёной травой, и на нём что-то лежало — совсем маленькое.

Крошечная фигурка, словно муравей или кузнечик, только человеческий.

А рядом с фигуркой уже суетились махонькие людишки: размахивали руками, приседали, что-то кричали, бегали.

Тут-то до меня и дошло: лежащий кузнечик — мой веснушчатый гость, сломанный.

Ах, как мне стало не по себе!

Ой!

6. Вернулась с хлебом Варвара — бледная, взбудораженная.

— Кто-то упал или прыгнул с балкона, — сказала она. — Внизу лежит.

Я сидел на диване и смотрел на зелёную палочку.

Я положил её рядом с собой, но почему-то не смел к ней притронуться.

Существо сказало: палочка волшебная.

Но я не мог вспомнить: как воспользоваться волшебной палочкой?

РОБЕРТО БОЛАНЬО — ЭТО Я

Но идентификация — это когда кажущееся чем-то этим и оказывается, а при этом казавшаяся базовой и фундаментальной «реальность» оказывается фиктивной, фикцией.

Леон Богданов

1. Есть один писатель, которому я страшно завидую.

Впрочем, я завидую многим писателям.

Например, Сэмюэлю Беккету, — я завидую не только его несравненным произведениям, но и его атлетическому телосложению (когда-то в Париже в книжном магазине я видел фото Беккета с обнажённым торсом и чуть не умер от зависти).

Ещё я завидую Пушкину, потому что его можно читать в любом возрасте и в любом настроении, и он всегда возвращает тебя в исконный возраст и в искомое настроение.

Ещё я завидую Фолкнеру — ведь у него была его Йокнапатофа, в которой он мог делать всё что ему необходимо.

Настоящий писатель делает только то, что необходимо, а вовсе не всё, что пожелает.

Также я завидую Шахерезаде с её сказками и ещё Шарлю Перро, братьям Гримм, А. Н. Афанасьеву, Карло Коллоди, Хансу Кристиану Андерсену, Вильгельму Гауфу

и вообще всем сказочникам, потому что считаю сказку наивысшим словесным жанром, но больше всего я завидую анонимным народным сказочникам, ибо они не нуждались ни в публикаторах, ни в бумаге, ни в ручке, а только в чьём-нибудь доброжелательном ухе, готовом услаждаться их потешными и страшными историями.

Честно говоря, я завидую всем писателям, которые не заботились о публикации своих опусов.

И, конечно, я завидую Юрию Олеше: завидую его повести «Зависть», написанной им в молодости, после чего он уже ничего не мог написать, потому что оказался беззащитен перед всё более наглеющей властью, которая зажала его, как и всех остальных писателей, в своём удушающем кулаке, хотя Олеша всё же изловчился, на минутку высвободился и написал сказку «Три толстяка», которая очень мне нравилась в детстве, а потом снова ничего не писал, а просто сидел и пил водку в ресторане гостиницы «Метрополь» и отпускал язвительные замечания в адрес других писателей, но в то же время писал свою книгу «Ни дня без строчки», — вернее, не книгу, а гнигу: что-то вроде дневника, вроде воспоминаний, наблюдений и размышлений, ведь он прекрасно понимал, что никакая книга уже невозможна, что время книги прошло и наступило время жизни и смерти.

Если вдуматься, я завидую всем мёртвым — писателям и не-писателям.

2. Но Роберто Боланьо, о котором пойдёт речь ниже, я завидую несколько иначе, чем Пушкину, Фолкнеру или Беккету, иначе, чем всем превосходным поэтам и сказочникам, которым я ежедневно, ежечасно, ежеминутно завидую.

Так как же я ему завидую?

А вот: я завидую Боланьо как самому себе, потому что иногда мне кажется, что Боланьо — это я.

Да, именно я, только родившийся не в советской Алма-Ате, а в Сантьяго — столице Чили, и сбежавший не от советского строя, а от генерала Пиночета, и проведший всю жизнь в скитаниях, как настоящий бездомный писатель, образ которого я лелею в своём воображении.

Да, великий бездомный писатель Боланьо — это я, вот какая чушь приходит мне в голову!

Но эта мысль — что я на самом деле Боланьо, а вовсе никакой не Бренер — эта странная идея является совершенно обычным моим умопомрачением, привычным бредом и томлением.

Я знаю, что загубил в себе какие-то прекрасные возможности, а вот Боланьо — нет (так мне хочется надеяться), и поэтому я влачусь за тенью этого блестящего писателя как его взывающая и завывающая тень.

В одном из своих рассказов Боланьо описывает, как он бродит с датской девушкой по готическому кварталу Барселоны, и его спутница велит ему присмотреться к теням, которые отбрасывают их фигуры.

Боланьо замечает эти тени, упавшие на древние стены, и тут датчанка говорит, что у теней есть особая, отдельная жизнь, хотя мало кто это понимает.

Боланьо приглядывается к своей тени, и ему кажется, что тёмный вытянутый силуэт искоса смотрит на него и шевелит губами.

Боланьо поражён, а затем они вчетвером — Боланьо, девушка и их тени — растворяются в бесформенном мраке.

Когда я прочитал этот отрывок, то сразу понял: тень, косящаяся на Боланьо, тень, которую он в конце концов заметил и присутствие которой его поразило, эта тень — я, я, Александр Бренер.

Я и есть его тень, то возникающая, то исчезающая — в зависимости от Луны или Солнца.

Как писал Константин Вагинов:

Прохожий обернулся и качнулся
Над ухом слышит он далёкий шум дубрав
И моря плеск и рокот струнной славы
Вдыхает запах слив и трав.
«Почудилось, наверное, почудилось!
Асфальт размяк, нагрело солнце плешь!»
Я в капоре иду мои седые кудри
Белей зари и холодней чем снег.

3. Тень — это тень чего-то иного, возникшего на миг и исчезнувшего.

Боланьо был бездомным писателем, который то возникал, то исчезал там и сям — как тень, а не как заслуженный деятель культуры.

Я говорю, разумеется, не только о его физических скитаниях, хотя и о них тоже: о странствиях вечного беженца и эмигранта, всплывавшего то в Мексике, то в Чили, то в Эль-Сальвадоре, то в Испании, то в Нидерландах, то в Рио-де-Жанейро, то в парижском отеле на улице Сен-Жак, то в бельгийском местечке Мануи-Сен-Жан, то в Швейцарии на озере Лаго-Маджоре...

Я говорю ещё и о политическом бродяжничестве Боланьо, который успел побывать троцкистом, сторонником правительства Сальвадора Альенде, одиноким писателем, наблюдателем краха Латинской Америки и Европы, аналитиком писательского ничтожества, мечтателем, коммунистом...

Я говорю ещё и о скитальческом писательском методе Боланьо, который с величайшим умением использовал всевозможные литературные жанры: детективную

историю, книжную рецензию, авантюрную новеллу, древнюю притчу, авангардистский опус, приключенческий роман, журналистский репортаж, стихотворение, путевые заметки, философское эссе, записанный сон, анекдот, очерк.

Я имею в виду и духовные блуждания Боланьо, которые никогда не кончались и заносили его то в Лос-Анджелес к чешуекрылым ангелам гнева, то в африканскую деревню, опустошённую этнической чисткой, где он читал биографии французских поэтов и смотрел на красную землю.

Как говорит сам Боланьо: «Написанное слово своим острым рогом пропарывает путь сквозь сон, и вот ты уже шагаешь по новой тропке. По зыбкой тропке. Всегда неприютной. Она ведёт прямиком в ад, а может, и выводит из ада. К чему, собственно, всё всегда и сводится. Ты либо торишь дорожку в преисподнюю, либо удаляешься от неё».

Неприютное слово — вот что стало уделом Боланьо, его домом, его чужбиной.

А у меня, его тени, слова застревают в глотке.

Зато жизнь моя как у самой настоящей боланьевской тени: тоже бездомный, тоже мыкавшийся из страны в страну, из города в город, нигде не находивший себе места, а теперь вот осевший без паспорта и без квартиры в несусветно дорогой хай-тек-деревушке со столичным населением — в адском садике под названием Цюрих.

А Боланьо осел в приморском местечке недалеко от Барселоны — в городке Бланес, что славится своим пляжем и где с лёгкой руки Боланьо был убит самый отпетый авангардист-фашист Латинской Америки — Карлос Видер.

Но и обосновавшись в Бланесе, Боланьо продолжал шататься в своих книгах — и куда его только не заносило.

Он сказал про себя: «Моя единственная родина — жена и двое моих детей, а ещё, возможно, несколько улиц, лиц, книг и мгновений, которые всегда со мною».

А моя единственная родина — Варвара.

Ну а литература?

Про неё Боланьо в своём последнем интервью, данном журналу Playboy, умолчал — только «жена и дети».

«Литература» — это что-то ужасно чужое: не тот кусок земли, на котором стоишь подгибающимися ногами.

Вот опять Боланьо: «Всё на этой кухне было фальшивым. Ни настоящих тарелок, ни настоящих приборов, ни настоящих кастрюль. Таково кино, сказал автор порнографических фильмов Хельмут Биттрих, глядя на меня голубыми глазами, которые тогда пугали меня, а теперь вызывают разве что жалость».

Литература — фальшивка, а все писатели, согласно Боланьо, — болтливые шлюхи.

А некоторые — шлюхи-убийцы.

И уж совсем немногие — невинные шлюхи.

Как сказал Никанор Парра (любимый поэт Боланьо): родители поэта должны быть убиты, он — сирота от рожденья.

Чумой пристало к шлюхам-сироткам их ремеслоблядка.

Боланьо хорошо знал, как делается словесное искусство.

Он был поэтом, который писал прозу, чтобы заработать денег и прокормить себя и своих близких.

Но он не продавал то, во что верил.

Ох, как же я обрадовался, когда прочитал у Боланьо такие строки: «Литература была для меня обширным минным полем, где можно наткнуться только на врагов, если не считать кое-кого из классиков (далеко не всех),

и мне приходилось ежедневно прогуливаться по этому минному полю, опираясь разве что на стихи Архилоха, и один неверный шаг мог закончиться очень плохо».

И дальше: «Случаются мгновения, когда тебе не на что опереться, нет друзей и уж тем более учителей, нет никого, кто протянул бы тебе руку, когда издательства, премии, стипендии — это для других, для тех, кто раз за разом повторяют „да, сеньор“, или для тех, кто поёт хвалы литературным генералам, коих вокруг тьма тьмущая и их единственное примечательное свойство — полицейский взгляд на жизнь, от них ничего не ускользнёт, они ничего не прощают».

Когда я прочитал эти строки, то прямо-таки вздрогнул: каждое слово здесь моё, каждая запятая моя, всё родное, вплоть до упоминания Архилоха.

Вот это-то презрение к литературе и объединяет нас — поэта Боланьо и его тень, Бренера Сашку.

4. Недавно я прочитал «Чилийский ноктюрн» — могучую повесть Боланьо.

Это очень страшная книга, как некоторые сказки.

В «Чилийском ноктюрне» речь идёт о том, как делается литература.

Время действия — дни после переворота Пиночета.

Социалистическое правительство Сальвадора Альенде пало.

Сам Альенде убит в президентском дворце Ла Монеда.

Множество людей арестовано и брошено в тюрьмы.

Но жизнь, как водится, продолжается.

В предместье Сантьяго стоит в саду особняк — хороший, защищённый от чужих взглядов.

Там живёт американец Джимми Томпсон и его чилийская жена Мария Каналес — молодая писательница, работающая над своим первым романом.

У них два очаровательных ребёнка.

Мария Каналес держит в доме литературный салон, в котором, несмотря на комендантский час, собираются писатели, музыканты, критики, люди искусства.

Они хорошо проводят время: слушают пластинки, пьют виски, закусывают, курят, говорят об искусстве.

Но вот однажды один из гостей сильно напился, пошёл в туалет и заблудился в громадном доме.

В конце концов он оказался в подвале.

Там была какая-то дверь, которую он толкнул и попал в темноту, пропитанную чем-то опасным.

Пьяный гость (теоретик авангардистского театра) нащупал выключатель: вспыхнула электрическая лампа.

Там на металлическом топчане лежал голый человек, привязанный за кисти и лодыжки.

Лицо его было закрыто повязкой, но слышалось дыханье.

Возможно, этот несчастный, прикрученный к койке, лечил сном свою боль, свои чудовищные страданья.

На теле виднелись раны: загноившиеся язвы и рубцы со странными пятнами, как бывает при переломах.

Взглянув на распростёртого человека, теоретик авангарда обомлел, а потом выскользнул из комнаты, прикрыв дверь снаружи.

И двинулся в обратный путь, причём хмель его словно ветром сдуло.

Вернувшись в гостиную на литературный праздник, он налил себе виски и не обмолвился об увиденном ни словом.

Но вскоре поползли слухи.

И выяснилось, что Джимми Томпсон — хозяин особняка — был одним из ведущих агентов ДИНА (служба безопасности при хунте) и использовал свой дом как центр допросов и истязаний.

«Вот как делалась литература в Чили», — говорит Мария Каналес, хозяйка литературного салона в доме пыток.

И Боланьо пишет: «Так делается литература в Чили, но не только в Чили — в Аргентине и Мексике, в Гватемале и Уругвае, в Испании, Франции, Германии, в зелёной Англии и весёлой Италии. Так делается литература. Или то, что мы, чтобы нас не выбросили на свалку, называем литературой».

Ужас?

Ужас!

Рядом со светлой комнатой любого писателя, сочиняющего книгу, — темница, где истязают несчастных.

Да и сама писательская комната ничем не лучше.

Какой писатель выдавил из себя холопа?

Какой писатель не шёл на постыдные сделки?

Какой писатель ради публикации книги не лизал чью-то жопу?

Литераторам пристало захлёбываться в дерьме ежедневно.

Страшно?

Гнусно!

Но ведь мы говорим о поэте — о Роберто Боланьо.

Литература — это аппарат, институции, культурная среда, сволочь.

Но мы говорим о другом: об одиноком бродячем поэте.

Осталось ли ему место на этом свете?

Кто знает...

Осталось ли ему место в литературе?

Неизвестно.

В «Чилийском ноктюрне» появляется тень — именно тень, а не персонаж, не действующее лицо, не характер.

Тень, как я — тень Роберто Боланьо.

Это некий «поседевший юнец», взявшийся ниоткуда.

Он возникает из пустоты, из словесного хлама, как чёртик.

Он приходит на культурные посиделки, на собрания, чтения, вечеринки.

Там он орёт, ругается, размахивает руками.

И исчезает.

Он возникает в повести несколько раз — непредсказуемо, неуместно.

Именно так: появится, закричит и исчезнет.

На кого он кричит?

На героев повести, а заодно и на всех писателей, критиков, на всех людей с даром речи.

Он не даёт им жить в мире, в согласии, в благолепии, в покое.

Он кричит что-то неразборчивое, какие-то оскорбления, слова ярости и раздора.

Он кричит, что все они — люди культуры — трусы, фарисеи, ничтожества, суки.

Что-то смехотворное кричит, что-то инфантильное, неразумное и злое.

Поседевший юнец кричит как сумасшедший, а потом смолкает.

Да кто он вообще такой, этот поседевший засранец?

Никто: просто нахал, самозванец.

Он не принадлежит ни к какой группе, ни к какой партии, ни к какой клике.

Он просто негодник, осквернитель священного алтаря, охальник.

Иногда он вопит что-то совсем несуразное, вроде: «Иезуиты!», «Бездарные хуесосы!».

Этот юнец — заноза в заду, помеха, обидная мелочь.

Он покричит, похамит, а потом исчезнет.

И опять станет славно и мирно, воцарится покой и полицейский порядок.

Этот юнец — просто тень, набежавшая на солнце культуры.

Секунда — и тень испарится.

Но вот что говорит протагонист книги (тоже литератор, но уже в предсмертном бреду, в лихорадке, на смертном одре, в чаду и озарении последних видений):

«Есть ли какой-нибудь выход? Так делается литература в Чили, так делается великая литература всего мира. „Вбей себе это в голову“, — твержу я ему. Но поседевший юнец, то, что от него осталось, шевелит губами, произнося еле слышное „нет“. Я силой своего ума его останавливаю. Или это делает госпожа история? Что может одиночка по сравнению с госпожой историей? Тот поседевший юнец всегда был одиночкой, а я всегда уважал историю. Я опираюсь на локоть и ищу его глазами. Вижу только мои книги, стены спальни, оконный свет в полумраке... Есть ли какой-нибудь выход? Временами земля дрожит. Эпицентр землетрясения находится на севере или юге, но я просто слышу, что земля дрожит. Иногда меня качает... Есть ли какой-нибудь выход? Я вижу людей, бегущих по улицам. Вижу, как они входят в метро и кинотеатры. Вижу, как покупают газеты. А иногда земля дрожит, и всё замирает на какие-то мгновенья. И тогда я спрашиваю: где тот поседевший юнец? Почему он ушёл? И правда понемногу начинает всплывать, как утопленник. Мёртвое тело, которое всплывает со дна моря или глубокого оврага. Вижу тень его растущую. Тень дрожащую. Тень, которая поднимается по холму какой-то окаменелой планеты. И тогда, в затмении моей болезни, я различаю его лицо, красивое лицо, и спрашиваю себя: не я ли тот самый поседевший юнец? Был ли на самом деле этот великий террор, был ли я тем посе-

девшим юнцом, который кричит, а его никто не слышит? И что было бы, если бы бедным поседевшим юнцом был я? И тогда с головокружительным ритмом сменяются передо мной лица тех, кого я видел, кого любил, кого ненавидел, кому завидовал, кого презирал. Лица тех, кого берёг, на кого нападал, от кого защищался, кого напрасно искал.

А потом вдруг как хлынет поток дерьма, и ничего не останется».

5. Когда я это прочёл, у меня волосы на теле зашевелились.

Всё встало на свои места, мои глаза открылись.

Эта тень — тень поседевшего юнца — вмиг всё прояснила.

В этой тени мы с Роберто Боланьо совпали.

Между нами не осталось никаких различий.

Мы слились в одну эту тень — тень поседевшего юнца, говорящего из последних сил «нет» в ответ на доводы истории и рассудка.

Мы стали одним — не Роберто Боланьо и не Бренером Сашкой, — а этим юнцом, вставшим против грандиозного потока дерьма, называемого «историей», «культурой», «литературой», «искусством».

Седая тень, говорящая «нет» — ради какого-то «да», которое и формулировать-то не надо.

Просто «нет», а потом — тишина, землетрясение, молчанье.

КУРЕНИЕ С Б. Л. И А. П.

В комнате тепло и накуре-
но, а за окном западный ветер.

Леон Богданов

1. Мне было лет десять, когда я попросил курящего друга отца дать мне затянуться.

Он дал, я пыхнул — и свалился со стула.

2. Немного позже девчонки в парке Горького заманили меня выкурить с ними сигарету.

После трёх затяжек меня стошнило, а они смеялись.

И вот, помню, эти девчонки в юбчонках ведут меня куда-то под руки среди деревьев.

А куда и что было потом, не помню.

3. Курить я так и не научился.

Но всё равно курил, когда был с людьми, которыми восхищался.

Я одуревал от их общества, как от никотина.

Самым главным был, конечно, Борис Лучанский.

Я уже писал о нём в «Житиях убиенных художников», но этого мало.

Под знаком Бориса прошла моя незрелость — и до сих пор проходит.

Он появляется во сне, и мы опять курим.

Я снова глотаю дым, давно улетевший в космос.

И опять мне становится дурно: я задыхаюсь от табачного облака, проникшего в лёгкие, задыхаюсь от блаженства быть с Борисом и от тоски, что он мне всего лишь снится.

Мгновение спустя я просыпаюсь, и сердце ноет.

4. Попытаюсь дать его словесный портрет, а уж оживёт ли он, задышит, пойдёт навстречу, позволит к себе прикоснуться, — не знаю.

То, что осталось от реального Бориса, лежит в Израиле, в городе Цфате, где живёт его вдова и где он умер от запущенной язвы желудка.

Там его рисунки, его кисти, его кости и, возможно, ещё что-то...

Но кое-что хранится и в моей черепной коробке.

5. Я уже говорил в другом месте, что Борис Лучанский был моим учителем, равви.

Каждое исходящее из его уст слово воспринималось мной как истина и как побуждение к поступку.

Учителя учат жить, а иначе они доценты.

Стоило Борису сказать: «Мне не в чем выйти из дома в эту дурную погоду», и я на следующий же день выносил из родительского дома старую, но раритетную куртку (её подарил отцу один канадец) и приносил Борису (а отец потом искал эту куртку и, не найдя, сокрушался).

Так я перетаскал Борису отборные вещи: сумки, рубашки, трусы, консервы, складной нож с головой тигра, книги...

Дело в том, что Борис был нищим.

6. Художник Лучанский жил в советской Алма-Ате в самой одичалой трущобе.

У него не было телефона.

У него не было водопровода: за водой нужно было ходить с ведром на соседнюю улицу — к колонке.

У него не было ни телевизора, ни радио, ни холодильника, ни магнитофона.

У него не было запасной смены белья, зато он купил щегольские ботинки.

У него было среднее неоконченное образование.

Он не знал ни одного иностранного языка, но обожал смотреть на санскритские, ивритские, греческие и эфиопские буквы, а также на японские и китайские иероглифы, как и на арабскую вязь, которая содержалась в Коране, напечатанном в начале XX века в Ашхабаде.

Он ходил без носков — не потому что это было модно, а потому что носки истлели.

Когда улицы Алма-Аты вымирали и население припадало к голубым экранам, чтобы насладиться очередной серией «Семнадцати мгновений весны», Борис сидел в камышовом бараке в Малой Станице и пускал голубые облака едкого дыма, передавая мне приплюснутую папиросу.

Когда у меня появлялись деньги (я их воровал у отца), мы курили болгарские сигареты с фильтром.

Ну и пили, конечно, — водку, бормотуху, технический спирт, пиво.

7. Что это значит: курить?

В фольклорном смысле это значит впускать в себя чёрта или блудницу.

В религиозно-философском смысле курить означает окружать себя облаком нирваны.

Ну а в артистическом смысле, перефразируя Поля Валери, можно сказать, что курение позволяет увидеть

вещи такими, какими они были однажды, когда на них глядели неандертальцы.

Если соединить три эти значения, получится наше с Борисом сидение в камышовом бараке на пропитанном ядовитыми химикалиями бугре в Малой Станице.

Я уже писал о Малой Станице, но скажу ещё два слова: все дома в этом алма-атинском предместье походили на упавшие с неба и покорёженные от удара скворечники, облепленные птичьим помётом.

В этих скворечниках жили взъерошенные птицы с перебитыми крыльями и когтистыми лапами и их крикливые, рваные, сопливые дети.

В Борисовом бараке на полу лежала истоптанная коричневая кошма с белым тюркским узором — единственная ценность в доме, если не считать ломберного столика, покрытого зелёным сукном с многочисленными дырами — следами папиросных ожогов.

На самодельной полке стояли любимые книги — «Слова» Сартра, «Записки от скуки» Кэнко-хоси, Лукиан из Самосаты, Проспер Мериме, двухтомник Акутагавы и последний том из бунинского собрания сочинений, содержащий в себе трактат «Освобождение Толстого».

На стене висела маленькая тёмная темпера Михаила Шварцмана с изображением совы, глядящей как Спаситель на старинной иконе.

Мы сидели, курили, окружали себя клубами вонючего дыма, в котором зарождалась иная явь: ачинтья-бхеда-абхеда.

Меня в этой ачинтье порядочно тошнило и качало.

8. Борис, как всегда, говорил, а я слушал.

Я вечно молчал в присутствии Бориса — мычал, кивал, улыбался, соглашался.

Я благоговел перед его вдохновенными, нетрезвыми, разрушительными словами.

Борис был художником не рисующим, а говорящим.

Его изобразительная продукция казалась мне восхитительной, даже гениальной, но в количественном отношении она была ничтожна.

Карандашные наброски, маленькие рисунки пером, дюжина офортов — вот и всё, а в промежутках — речи, речи.

Он был болтуном, сказителем, рапсодом.

9. В тот незабываемый вечер, незаметно перешедший в глухую ночь с дальним собачьим лаем, Борис говорил о Пушкине.

Голая лампочка висела над нами, освещая убогую обстановку.

Облако табачного дыма занавешивало свет лампы.

Пушкин был богом Бориса.

Он понимал, что пушкинские стихи запечатлели новозаветный момент в истории русской словесности, когда она открылась мессианским путям, благодатям, ересям и блажи.

Литература отворилась как дверь, ведущая в парадиз, в Эльдорадо.

Пушкин — эта самая дверь и есть.

Борис знал это, как другой горький пьяница, — Аполлон Григорьев.

Я в своей жизни столкнулся с разными чурбанами, принижавшими Пушкина.

Среди них были писатель Эдуард Лимонов, художник Анатолий Осмоловский, поэт Дмитрий Пименов, сказавший мне, что Пушкин не поэт, а переводчик.

А вот Борис Лучанский из Малой Станицы не сомневался: Пушкин — самый гениальный из русских славословов.

И не просто гениальный, а, как сказал Достоевский, он наш Мессия: «пришёл ускорить времена и сроки».

10. Пьяный Борис затягивался дымом, выпускал его через нос и читал любезное сердцу:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел...

Чёрт подери, какая правда!

Мы сами были в «бедном челне», среди «чёрных изб» Малой Станицы, в «неведомом лучам» табачном тумане.

Мы сидели в «приюте убогого чухонца».

Мы находились на краю мира, в глухом углу империи, где было холодно и дико.

Всё как в пушкинских строках!

Поэтому-то нас и трясло как в лихорадке.

А Борис читал дальше:

...Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложён

На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твёрдой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

В этих стихах слышалось обещание иного: дерзания, прорыва в большой мир, цветения чужеземных флагов, — избавление слышалось.

В этих стихах была не тупая поступь государства, а обетование простора.

Мы с Борисом Лучанским пили ядовитый алкоголь и курили грубый табак именно ради этого: отпущения на волю.

11. А он, пьяный в дым, опять читал на память:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла...

И вот, когда он это читал, закутанный в синее облако, случилось нечто необыкновенное.

Чудо — вот что произошло.

Оно длилось всего минуту, а может, и короче, но было божественно.

12. Итак: вместо Бориса Лучанского из табачного тумана выплыл Александр Сергеевич Пушкин — поэтический гений, неугасимая лампада и огненный столп, дуэлянт и любовник, смутьян и аристократ.

Да, это был он — маленький, темноликий, с чёрными блестящими локонами, странными чертами лица и сияющими глазами то ли пророка, то ли отрока.

Только это был нищий Пушкин, совершенно обездоленный, родившийся в семье бедного еврея Зямы Иосифовича Лучанского.

Он учился в средней советской школе, потом в алма-атинском Художественном училище, но был оттуда изгнан.

Потом он жил со своей мамой в бараке, читал чудные книги, рисовал на бумаге акварельными красками и тушью, слонялся по геологическим экспедициям в качестве разнорабочего, служил сторожем в пожарном депо, опять рисовал на клочках ватмана, мечтал о мировой славе, влюблялся, пил, курил, родил дочь, совокуплялся под забором, нищенствовал, изрыгал проклятья...

Он уже не был величайшей звездой русской поэзии, чей памятник стоял в Москве на Страстной площади, но превратился в окончательно обалдевшего и ожесточённого, изголодавшегося и оказавшегося без всяких средств к существованию А. С. Пушкина, заброшенного беспощадной судьбой в яблочную Алма-Ату — на её самую углюдочную, гнилую окраину.

Слово даю, я был свидетелем этого богоявления Пушкина — его возникновения из дымного облака в тёмную

зимнюю ночь в Малой Станице в ранние годы брежневского правления.

Никогда мне этого не забыть...

13. А потом случилось катастрофическое.

Было уже, оказывается, три часа ночи, когда я увидел Пушкина.

Я сидел перед ним — ошалевший, упившийся и накурившийся, утопая в табачном мареве и благоговении.

И тут в дверь камышового барака кто-то громко постучал:

— Бам-бам!

У меня душа в пятки ушла.

В следующее мгновение дверь распахнулась, будто её ветер с петель сорвал.

И вошёл мой отец — бледный, кипящий, рассерженный.

Он приехал забрать меня, нерадивого старшеклассника.

Он узнал адрес Лучанского в милиции (у отца был знакомый юрист, читавший лекции в милицейской академии).

Он схватил меня за руку и потащил на промозглую, дремучую, провонявшую углём улицу, где его ждало такси, и, шепча слова родительского негодования, втолкнул в машину и увёз прочь с первобытной окраины.

А я, дурак, даже не успел пожать руку Пушкина на прощание.

Даже не успел выразить ему свою благодарность и ликование.

Именно поэтому я — вечно терпящий неудачу мелкий бес, болтливый бездельник, плагиатор и обормот.

ПОХИЩЕНИЕ КУРТКИ АНДРЕАСА БААДЕРА ИЗ БАРА RUMBALOTTE CONTINUA

У нас об этом не говорят, но в Аргентине находят всё новые тайные захоронения лиц, не поддающихся идентификации.

Леон Богданов

1. Rumbalotte Continua — был такой писательский бар в Берлине, в районе Пренцлауэр-Берг, на тихой улице Metzer Strasse.

Просуществовала эта Румбалотта лет пять, с переменным успехом, а потом протухла и сгинула.

Заправлял Румбалоттой Берт Папенфюз — известный поэт, чьи стихи можно найти в любой антологии современной немецкой поэзии.

А Папенфюзом заправляла Марайле — блондинка с комплекцией валькирии и характером Фридриха Прусского, которая почему-то невзлюбила нас с Барбарой (как, впрочем, и большинство людей — мы мало кому нравимся).

Но речь здесь не о нас, а о Папенфюзе и его баре Румбалотта Континуа.

Этот Папенфюз — личность весьма разносторонняя: поэт, содержатель бара, анархист, редактор журналов Sklaven и Abwärts!, великий пропагандист Егора Летова

и группы «Гражданская оборона», организатор литературных и музыкальных мероприятий для левых из Восточного Берлина, культуртрегер, координатор и покоритель усохших сердец.

Папенфюз происходил из ГДР, из берлинского культурного андеграунда, и имел репутацию вечного оппозиционера и поборника всего революционного, непризнанного, гонимого.

В юности он косил под панка, считался надеждой немецкой поэзии и поэтому мог почти беспрепятственно перемещаться из ГДР в ФРГ и читать там свои стихи, то есть занимал довольно-таки привилегированную позицию, хотя до Хайнера Мюллера ему было далеко.

Я познакомился с Папенфюзом давным-давно — году примерно в 1992-м, когда впервые попал в Берлин.

В тот приезд я принимал участие в поэтическом чтении, организованном московскими и берлинскими стихослагателями.

В российской группе были Пригов, Рубинштейн и кое-кто ещё, но я помню только этих двух и, кажется, Кибирова.

А из немецкой команды в памяти остался лишь Папенфюз, а остальные выветрились.

Российские поэты велели мне первым читать стишки.

Такое решение было принято ими неспроста: они опасались, что я учиню какой-нибудь скандал, и хотели от меня поскорее отделаться, хотя, разумеется, я мог учинить скандал и в самом начале вечера.

Мне было плевать, в какой очередности читать.

Я вышел и пропел стих, который сочинил специально для этой оказии.

Не думаю, что это было гениальное стихотворение.

Скорее, это было нахальное стихотворение, в котором я посылал к чёртовой бабушке всё, что пришло мне

в голову: тогдашнего канцлера Германии Гельмута Колля, тогдашнего президента России Бориса Ельцина, тогдашний мировой капитализм, все поэтические чтения на свете, конкретно это поэтическое чтение в Берлине, всех поэтов, которые в нём участвовали, всех слушателей, которые сидели в зале (а их там было предостаточно), все аудитории, залы и холлы, в которых проводятся такого рода мероприятия, и самого себя, стоявшего перед публикой и что-то такое блеявшего.

Короче, это было довольно оскорбительное и забавное стихотворение-оскорбление, стихотворение-ругательство, стихотворение-выпад, своего рода диатриба или филиппика.

Но главное, конечно, заключалось не в том, что я читал, а как.

А читал я так, будто делал это в первый и последний раз, а потом хоть потоп.

Я читал извиваясь, как морской гад, щупая свой член, как больной, и брызгая слюной, как лама в берлинском Zoo.

В результате моё чтение получилось заводным и вызывающим — в духе Катулла, Гелиогабала, Нерона и Марка Фурия Бибакула.

По лицу Рубинштейна, выступавшего после меня, было видно, что я произвёл-таки впечатление.

Публика сидела укокошенная моей наглостью.

Потом Пригов изображал милиционера и кричал кикиморой, явно соревнуясь со мной, но не дотягивая.

Остальные декламировали свои стихи как собаки, подвергшиеся павловской вивисекции.

Наконец вся эта бодяга кончилась.

Тут ко мне подошли два незнакомых немца и пригласили выпить с ними водки или пива — чего захочу.

Один из них был вроде гнома в ярких лохмотьях и с очень большой бородой.

Это оказался Пенк — известный художник-экспрессионист, звезда тогдашней немецкой живописи.

Он был в восторге от моего чтения и сказал, что никогда ещё не видел такого поэта, как я.

Второй немец громоздился рядом с Пенком словно викинг-колосс, обряженный в чёрную кожу и серебряную сбрую с ног до головы.

Он мне одобрительно подмигнул.

Это и был Папенфюз в своей обычной униформе: косухе, траурной футболке, кожаных штанах и высоких шнурованных башмаках.

Он имел много волос на голове и щеках.

Мы пошли в бар и выпили.

Потом Пенк попрощался; мы остались с Папенфюзом вдвоём.

Тут он мне и показал свой Восточный Берлин, то есть Пренцлауэр-Берг.

2. В те далёкие времена этот район, начисто проданный сегодня сытым скупщикам, был настоящей руиной — даже больше, чем Ленинград в 1989 году.

На домах красовались дыры от советских снарядов — следы майских боёв 1945-го.

В ходе той экскурсии Папенфюз нырял в какой-нибудь тёмный подъезд, я за ним, и мы приземлялись в очередном кнайпе, где торчали люди-вороны, люди-овцебыки, люди-блохи, люди-росомахи, люди-сороконожки, накачивавшиеся шнапсом и бехеровкой: сначала стопка шнапса, потом стопка бехеровки — и так до бесконечности.

А пиво там лилось Рейном-рекой.

Мы тоже глотали пиво и шнапс, пока я не окосел, а Папенфюз — нисколечко.

Он хорошо умел пить, а ещё он был завзятым курильщиком.

В его крупной, холёной руке, украшенной браслетами и кольцами, то и дело мелькала серебряная зажигалка, которой он орудовал с изяществом Эриха фон Штрогейма, на которого слегка походил.

Я смотрел на него во все глаза и постепенно влюблялся, как Марлен Дитрих в фельдмаршала Роммеля.

Его физиономия заставляла вспомнить Сократа, Тиля Уленшпигеля, какого-то пирата из книги Стивенсона, Жерара Депардье, мопса, Райнера Вернера Фассбиндера, немецкого чернорабочего времён Гёте и Гёльдерлина, Капитана Бифхарта, голливудского киноактёра тридцатых годов, бога Одина, декабриста Пестеля и Макса Штирнера.

Он был харизматичен, как Джон Уэйн.

В обкуренных кнайпах люди-псы, люди-шакалы и люди-попугаи все до единого знали Папенфюза и здоровались с ним уважительно, как будто он был не Бертом Папской Ногой, а Ричардом Львиное Сердце — королём дикарей-рыцарей.

3. Позднее я ближе познакомился с Папенфюзом и его компанией и сообразил: никакие они не дикари и не рыцари.

Они были угоревшими берлинскими левыми — из литературной тусовки, из художественной среды.

Левые — и на Востоке, и на Западе — давным-давно прогнили и скурвились.

Я якшался с марксистами и троцкистами в Питере: они словно белены объелись и дурью маялись.

Позднее я соблазнился культурными левыми в Вене — и совсем оскудел умом.

Бегите и от правых, и от левых, дети человеческие!

Бегите не вправо и не влево, а в даль — зигзагами!

Левые, как и правые, — стропила, столбы и колонны современного общества.

Они — трупы, по кладбищу Земли бродящие.

На погосте правых и левых должна вырасти новая трава, чтобы жизнь на планете снова проклюнулась.

И трава, слава богу, уже растёт — благодаря дождям, ветрам, семенам, мошкам, кошкам, птичкам, Спинозе, стрекозам, Вальтеру Беньямину, горам, долинам, Лермонтову, Аристофану, группе Gang of Four, Агамбену, тучам, солнцу, бабочкам, Тиккун, Роберту Вальзеру, фруктам, навозу, чаепитию, шишкам, землетрясениям...

Трава эта ни правая и ни левая: она неуправляемая.

4. Со времён моего первого приезда в Берлин годы пролетели, как комар над головой.

Столица Германии стала модной, жирной, блатной метрополией.

Все те тайные шалманы и погребки, которые Берт показал мне в первый раз, исчезли, словно их и не было.

Пренцлауэр-Берг превратился в резиденцию умиротворённых и обеспеченных.

Капитал всех перевоспитал и всё собой пропитал.

Но Берт Папенфюз почти не изменился, только заматерел, как племенной бык.

Попадая в Берлин, я обязательно навещал его в каком-нибудь новом его проекте — баре, кнайпе или кабаре.

Берт был неутомим в своей организаторской деятельности, в собирании вокруг себя левых стихокропателей и маргинальных издателей, тощих эссеистов и сытых ка-

ламбуристов, а также в курении, поглощении пива и бехеровки, в пропаганде творчества Франца Юнга, Квирина Кульмана и Эрнста Фурманна.

Rumballotte Continua стала его последним детищем.

Это было довольно-таки мрачное заведение, где собирались охотники до похорон и желчные нытики — депрессивные, враждебные, огрызающиеся личности, вздыхающие о Гуляй-поле и революционных экспроприациях.

Как всегда, Берт привечал всё русское, и в Румбалотте читали свои стихи Илья Китуп, Саша Гальпер, Бонифаций и Антон Лайко, играли на гитарах бард из Калининграда и скальд из Мурманска, мыши кота хоронили, бренчал на домбре Александр Токарев и выступал с лекцией Павел Арсеньев, которого я очень не люблю.

А Берт, стоя за стойкой, восхищался «Аэлитой» Алексея Толстого и ставил музыку Летова.

По просьбе Папенфюза мы с Барбарой расписали потолок Румбалотты голыми амазонками, за что нам была предоставлена бесплатная выпивка в течение месяца.

Но на самом деле Берт нас недолюбливал — считал непрогнозируемыми фалалеями.

Он был папиком, авторитетом и козырем, а мы однажды в голом виде танцевали у него на стойке твист, показывали всем анусы и случайно разбили бутылку рома Havana Club.

Он на это нахохлился.

Однако самое страшное заключалось не в этом и даже не в том, что мы не разделяли его любви к Алексею Толстому и слыхом не слыхали о группе «Монгол Шуудан».

Самое страшное заключалось в том, что мы с Барбарой спёрли из Румбалотты главную папенфюзовскую реликвию — кожаную куртку Андреаса Баадера.

5. Она была сшита на манер пиджака — чёрная кожанка, сильно потёртая, с одной недостающей пуговицей.

Подкладка в ней совершено замусолилась.

На левом рукаве было несколько прожжённых дыр — возможно, это Гудрун Энслин позабавилась.

Согласно легенде, куртка принадлежала когда-то Андреасу Баадеру — одному из лидеров RAF (Rote Armee Fraktion), подпольщику, городскому партизану и борцу с государством, погибшему в 1977 году в тюрьме Штаммхайм в Штутгарте.

После смерти Баадера куртка попала к берлинскому издателю анархистской литературы Бернду Крамеру, а от него — к Папенфюзу, поэту и организатору.

Сам Берт не слишком-то уважал RAF, считал их беспредельщиками.

Но многие завсегдатаи Румбаллоты относились к кожанке как к музейной драгоценности.

Куртка красовалась на специальном стенде на стене бара — рядом с полками с бутылками.

Она висела как бы в распятом виде — с растопыренными рукавами, с обнажённой внутренностью.

Взгромоздясь на высокий стул, я впивался взглядом в эту баснословную куртку и уже не мог от неё оторваться: мне страшно хотелось её.

Я почему-то решил, что если надену кожанку Баадера, то буду счастлив до скончания дней и спасусь ото всех напастей.

6. И что же?

Как сказал Йоханнес Баадер: «HURRA!!!»

Мы с Барбарой действительно украли куртку Андреаса Баадера, а вместо неё повесили на крючок другую чёрную

кожанку, купленную нами за гроши в магазине поношенной одежды в Кройцберге.

Кража произошла утром, когда мы расписывали потолок Rumballote Continua, а Папенфюз вышел на улицу с кем-то потолковать.

Вообще-то он не хотел оставлять нас без присмотра ни на миг, но всё-таки оставил на пять минут, а когда вернулся, не заметил подмену на стене.

Помню, он предложил нам по стопке бехеровки.

Мы выпили, хотя терпеть не могли эту дрянь.

Через полчаса мы закончили нашу фреску и смылись из жизни Берта навсегда.

Стоя на Торштрассе, я натянул чудесную кожанку: она пришлась совершенно впору, только чуть-чуть жала в плечах.

Ветхая, потёртая, заскорузлая вещь, с трудом застегнувшаяся на непослушные пуговицы...

Я стоял посреди улицы со счастливой улыбкой, как когда-то в детстве, когда родители принесли домой новогоднюю ёлку и всё вокруг запахло хвоей до одури.

7. Куртка Баадера оправдала мои ожидания.

Я верил, что она меня спасёт, и она спасла.

Сразу после её похищения я был счастлив, как никогда.

И потом, и потом...

И сейчас, вспоминая и записывая эти слова, я тоже сказочно счастлив, словно дурачок.

Большинство людей живёт по двоичной системе: удача — неудача, прав — виноват.

А я — с тех пор как заполучил кожанку Баадера — больше так не живу.

Я просто беспричинно счастлив, пока что-нибудь не заболит.

8. Есть только одна маленькая нестыковочка: ворованная куртка уже не налезает на меня.

И это не потому, что я стал больше, а потому что она стала меньше, увы.

Возможно, я слишком часто надевал её в дождь?

Или она ужалась от времени, от безвозвратного течения лет?

Сперва кожанка была в самый раз, потом сделалась тесновата, потом скукожилась так, что я не мог в неё влезть.

Тогда я отдал её Барбаре — она пришла в восторг.

И носила куртку много счастливых лет.

Я на неё любовался и трогал, гладил, ласкал...

Но вот миновало последнее лето — мы извлекли кожанку из рюкзака.

Глядим, а она сжалась в комок, в лоскуток!

Совсем как шагреневая кожа, о которой писал Бальзак...

ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ТИМУРА ЗУЛЬФИКАРОВА

Раньше я любил солнце, умел пользоваться теплом.

Леон Богданов

1. Вчера я вспомнил, как когда-то (в 1982-м или 1983 году) посетил в Москве Тимура Зульфикарова.

Это такой поэт и писатель, которым я восхищался.

Он написал сценарий фильма «Чёрная курица, или Подземные жители» по сказке Погорельского.

А ещё он писал поэмы о Ходже Насреддине и великом завоевателе Тимуре.

Я читал его сочинения в журнале «Дружба народов» и приходил в восторг от его ритмизованной прозы, от его способности упиваться певучей фразой, от его умения смаковать слово.

А потом мне вздумалось самому стать кинорежиссёром, и я сочинил собственный сценарий.

Его действие происходило на озере Иссык-Куль во времена эмира Тимура.

2. В сценарии рассказывалось, как Тимур побывал на берегах Иссык-Куля.

Он пришёл туда со своим войском, которое расквартировалось на лето.

Тимур любил бродить по берегу озера без охраны.

Однажды во время прогулки он встретил дикую девушку по имени Айнура и стал смиренным учеником этой дикарки.

В те далёкие времена просторы вокруг озера были пустынны, однако кое-где уже росли великолепные пирамидальные тополя и чудесная облепиха — совсем как в наше время.

Айнура жила в глинобитной хижине, которую слепила своими руками.

Она заплетала крошечные косички на своём лобке и шлёпала себя по бёдрам.

Она всё время смеялась маленьким дробным смехом.

Когда Айнура увидела Тимура, она сказала:

— У тебя красивый кадык, дай я его поцелую.

И, не дождавшись ответа Тимура, поцеловала.

Эмир Тимур и босячка Айнура сношались на озёрном песке, как два подростка.

Айнура — дева с острыми сосками и рёбрами, выступающими наружу.

Свои чресла она умащала жиром жёлтого суслика.

Она научила Тимура совокупляться со всем живущим: с ослом и пчелой, с хомячком и удодом, с джейраном и тушканчиком, с серым вараном и черепахой.

Как говорят французы: HONI SOIT, QUI MAL Y PENSE — позор тому, кто дурно об этом подумает.

Когда они дрючились летним сияющим утром, над ними в небе висел серп месяца, как крошечная тающая льдинка.

А потом войско Тимура собралось в поход, и он ускакал — без Айнуры.

Она осталась одна — с озером Иссык-Куль, со степными тушканчиками, с майскими жуками, с шустрыми

ящерицами и стремительными стрекозами — и ей не было одиноко.

Тополиные листья уже начинали желтеть: наступала осень.

3. Я пришёл с этим сценарием к поэту Зульфикарову на территорию Мосфильма, где у него была квартира.

Я хотел, чтобы он прочитал мой сценарий и сказал, есть ли шанс его поставить.

Помню, день был чудесный, с густой синевой над домами.

Прозрачные облака, похожие на паутину, рассекали московское небо.

Дом, в котором жил Зульфикаров, стоял в густейшей траве, а вокруг — сады, овражки, пригорки.

Так, во всяком случае, я помню.

Я поднялся на верхний этаж и в волнении перевёл дыханье.

Я нажал на кнопку звонка, ожидая какого-то чуда.

4. Он встретил меня в восточном халате и шароварах.

На стене висела икона с житием святого.

Квартира была светла и просторна.

Зульфикаров оказался статным мужчиной с широкой грудью.

У него была чёрная чёлка над сияющими глазами.

Он показался мне очень красивым, юным и страшно весёлым.

На паркете лежал ковёр — тоже очень красивый.

Вся комната излучала свет, как инсталляция Джеймса Таррелла.

Тимур Зульфикаров приветливо улыбался.

Он спросил меня, кто я и откуда.

Он сказал, что мы с ним земляки: он из Душанбе, я — алмаатинец.

Он сказал, что пишет сейчас поэму об Омаре Хайяме.

Мы пили чай из ярких пиал — душистый горячий напиток.

Он попросил меня оставить сценарий и позвонить через неделю.

На прощанье он крепко пожал мою руку.

5. Прошла неделя.

Перед звонком Тимуру я сильно волновался.

Он сказал в трубку, что сценарий очень хороший.

Сказал, что из сценария могла бы выйти чудесная кинокартина.

Но в Советском Союзе такой сценарий невозможно поставить.

Я был счастлив и так: меня похвалил Тимур Зульфикаров!

Я был счастлив, как никогда в жизни!

Он сказал, что будет следить за моим поэтическим развитием.

Он пожелал мне удачи.

С тех пор я его ни разу не видел.

Не знаю, следил ли он за моим развитием, но я за его развитием не следил и о нём не думал.

А вчера вдруг вспомнил.

6. Стал искать Тимура Зульфикарова в интернете.

Нашёл его официальный сайт — там много чего было.

Наткнулся на такую характеристику поэта: «Тимур Зульфикаров — великий русский поэт и писатель, создавший новый экстатический стиль в Мировой Литературе — стиль, соединяющий русский вселенский космизм

и тысячелетнюю мудрость Востока, огненное мессианское Православие, великую Арийскую Традицию, зороастрийское всесожигающее духовидение и неистовость ярого, несгибаемого ислама. Дар Зульфикарова бесценен, он — поэт от пророков, которые когда-то были пастухами».

«Ого!» — подумал я и смутился.

Стал смотреть дальше и вижу: на сайте опубликовано письмо Зульфикарова под заголовком «Враги Путина — враги Отечества!».

Хотел прочитать, а потом раздумал.

Решил просто записать своё воспоминание о Тимуре.

С тех далёких пор со мной много чего случилось — и с ним, несомненно, тоже.

Время проходит и уносит с собой дела и надежды.

Но щенячье счастье, которое я испытал от встречи с Тимуром, осталось.

7. Вот что пишет Гай Юлий Солин в своём сочинении «О достойном памяти»:

«Что касается счастья, то до сих пор не нашлось человека, которого по праву можно было бы назвать счастливым, ведь и Корнелий Сулла скорее назывался счастливым, чем вправду был им. Оракул указал на одного лишь Аглая как на определённо счастливого человека. Этот Аглай оказался владельцем бедного поместья в скудном уголке Аркадии, где он проживал, никогда не покидая отчих пределов».

СОЗЕРЦАНИЕ НАНСИ

Момент, когда персонажи молчат,
а яблони цветут, вечен.

Леон Богданов

1. У петербургского художника Андрея Хлобыстина была французская жена по имени Изабель — красивая, импульсивная девушка.

Уж не помню, как я с ней познакомился.

Изабель жила в Страсбурге и, кажется, училась на факультете славистики и одновременно на философии.

Она хорошо владела русским языком.

Страсбург мне понравился своим парком, где стояли гигантские дубы и росла нежная, взлохмаченная травка.

Изабель пригласила меня сделать там выставку — в городской галерее, с которой она сотрудничала.

Вместо выставки я устроил балаган.

Двое моих приятелей — итальянские художники — приехали из Милана в Страсбург, чтобы вместе со мной попаясничать.

Один из художников был альпинистом-любителем.

Другой играл на народном инструменте типа домбры.

Мы вбили в стену галереи альпинистские зацепы, встали на них и привязали друг друга альпинистскими верёвками.

Три фигляра, висящие на стене, — три дергунчика.

Когда галерея заполнилась публикой в день открытия, итальянец с домброй стал наигрывать народные мелодии.

Играл он, кстати, замечательно.

В разнобой мы запели что-то несуразное.

Публика глазела на нас, подвешенных, а мы кудахтали, квакали, квохтали, щебетали, ухали и балаболили.

Ну и дёргались, опутанные верёвками.

А потом вдруг заорали, завопили, заревели, как оглашенные.

Орали мы, кстати, замечательно.

Публика пялилась, посмеивалась.

Представление закончилось.

Изабель повела нас в какой-то погребок, и мы напились до одури.

Однако Изабель хотела чего-то ещё.

— Мой профессор в университете — Жан-Люк Нанси, — сказала она. — Хочешь с ним познакомиться?

Меня тошнило от выпитого, но имя Нанси пробудило во мне восторженность.

— Философ Нанси?! — вскричал я.

— Ну да.

— Конечно, хочу с ним встретиться.

— Тогда я договорюсь.

На следующий день итальянцы уехали, а я с больной головой гулял по Страсбургу, купил багет в булочной и смотрел на громадную синагогу, на кафедральный собор и другие старинные здания.

Потом я сел в парке на траву и стал выскребать из багета мякиш — совсем как детстве, в тот незабываемый день в Алма-Ате.

2. Помню как сейчас: родители послали меня за хлебом.

Я купил свежий, ещё тёплый батон и, держа его в руке, направился домой.

Но вдруг увидел во дворе играющих в асыки мальчиков.

Асык — это такая изящная баранья косточка-мосол, похожая на крошечный танк без башенки.

Игра в асыки заключается в выбивании мослов с кона.

Самый ценный асык — тот, которым выбивают — называется «сака» или «сочка».

Его заливают свинцом для тяжести и раскрашивают в красный, зелёный или синий цвет.

Сам я плохо играл в асыки, зато обожал глядеть на чужую игру.

В тот день я присел на корточки и впился глазами в бесподобное зрелище: умелые мальчики знали толк в асыках.

Я смотрел, позабыв всё, и машинально поглощал батон, причём ел его только изнутри, а корку оставлял нетронутой.

В результате батон всё больше походил на пещеру — пока я его полностью не опустошил.

Осталась поджаренная хлебная кожа, а вся мякоть исчезла в моём животе.

С опозданием на несколько часов и жалким остатком хлеба я вернулся домой, где меня ждали разгневанные родители.

— Где ты был?! Что сделал с хлебом?!

— Предавался созерцанию без сознания, — ответил бы я сейчас, а тогда только побледнел.

3. В условленное время я пришёл в галерею на встречу с Жан-Люком Нанси.

Изабель меня предупредила: философ пережил недавно тяжёлую сердечную операцию.

Теперь у него в груди билось сердце какого-то умершего человека, так как его собственное сердце не хотело функционировать.

Поэтому с Нанси нужно обращаться бережно, сказала Изабель, как будто я мог наброситься на него или сотворить что-нибудь дикое.

Я заверил её, что буду вести себя вежливо, поскольку я по природе вежливый.

Мы ждали его в кафетерии, и я волновался, нервничал.

Ведь это был сам Жан-Люк Нанси!..

И вот он появился, а с ним кто-то сопровождающий.

Философ улыбнулся, пожал мне руку и сел.

Одет он был как настоящий французский интеллектуал — в коричневые вельветовые штаны и бордовый свитер, а на шее шарф.

Он был коренаст и ладно сложен, с уверенными мужественными движениями.

Он заказал ромашковый настой, а его друг — чашку кофе.

Лицо у философа было умное и благородное, с твёрдым подбородком и высоким лбом.

Но я бы соврал, если бы сказал, что смотрел на его лицо.

Подлинное восприятие Нанси оказалось в моём случае совершенно иным: я увидел человека-Хоккайдо, человека-Сардинию, человека-Луну, человека-манго, человека-черепаховый-панцирь, человека-звезду.

Как бы это объяснить?

Возможно, всё произошло из-за моего смущения и оторопи.

Возможно, авторитет Нанси так на меня подействовал.

Возможно, дело было в его ауре.

В любом случае: я смотрел на него и видел кита, реку, степь.

Поэтому я уже не мог произнести ни слова и не слышал, что говорилось вокруг.

Изабель обращалась ко мне по-русски, но я её не понимал.

Вообще, она пыталась играть роль переводчицы: Нанси не говорил по-русски, а я по-французски знал два десятка слов.

Перейти на английский никому не пришло в голову.

Но мне язык вообще не понадобился — никакой, начиная с того, что был у меня во рту.

Я его, что называется, проглотил.

Возникло то же самое, что в Алма-Ате, когда я, десятилетний, наблюдал чужую игру в асыки: максимум фиксации — и никакой коммуникации.

Общение осуществлялось на ином уровне: так ранней весной идёшь по глубокому мокрому снегу и ощущаешь его всем существом.

Это как гравий, на который наступаешь босой ногой.

Думаю, моё немое созерцание философа было невежливо.

Наверное, я показался Нанси убогим и невменяемым.

А может, и нет, может, ничего подобного.

Может, он понял, что я смотрю на него как впервые продравший глаза и узревший: ручка ножа, кожа слона, ноготь старухи, волос дворняги, белый плевок на чёрном асфальте, солнечный блик в окне...

Вероятно, я смотрел на него как зверь: видел мир, в котором всё сопрягается и размывается, как в каком-то предсмертном зрении: пылинки в воздухе, запах цветка на больничной тумбочке, пейзаж Брейгеля, увиденный

когда-то в музее, вишнёвая косточка, положенная под язык, ртуть, высыпавшаяся на паркет из термометра, пластмассовый теннисный шарик с вмятиной...

Нельзя сказать, что я смотрел на Нанси и видел поверхность планеты Марс, или мыслящий тростник, или архетип какой-нибудь.

Нет, я видел скорее зрак.

Во мне созревал плод недеяния, когда я на него смотрел.

Начиналась моя лошадиная, носорожья, заячья жизнь.

Ведь лошадь, всю жизнь здесь ходящая, никогда не слыхала последних новостей и не читала Чехова, но она всё равно смотрит и думает.

Я с детства — с тех асыков — не видел эту лошадь, и вдруг она здесь, в Страсбурге, во мне!

Я хочу, чтобы ты, лошадь, не уходила никогда.

ПОТЕШНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В КАРЛТОН-КЛУБЕ

Теперь голая фактография является моим уделом.

Леон Богданов

1. Это длинная история, но однажды я кончил тем, что обедал в компании Маргарет Тэтчер, Михаила Горбачёва, Салмана Рушди, Ринго Старра, Генри Киссинджера, Джоан Дидион и других знаменитостей.

Случилось это в цитадели британской консервативной партии — в Карлтон-клубе, что находится на Сент-Джеймс-стрит в сердце Лондона.

Сразу должен признаться: я питаю слабость к английским клубам с тех пор, как познакомился с творчеством Ивлина Во, повесть которого «Незабвенная» стала моим любимым произведением в ранней юности.

Но, разумеется, попасть в настоящий лондонский клуб — дело нелёгкое, ведь нужно быть его членом, а я никогда ничьим членом не значился.

И всё же мне удалось побывать в нескольких элитарных клубах благодаря знакомству с Асимом Баттом — отпрыском пакистанских эмигрантов, родившимся и выросшим на восточной окраине Лондона.

Дело в том, что Асим работал продавцом в тёмном и тесном магазинчике в Ист-Энде, где продавалась исламская традиционная одежда, в том числе чёрные женские халаты, закрывающие тело с ног до головы, с волосяной сеткой на лице.

Как называется это платье?

Паранджа, или бурка.

Мы с Асимом неоднократно наряжались в эти самые бурки и в таком виде беспрепятственно проникали в самые изысканные клубы: в «Оксфорд и Кембридж», в «Реформу», в «Клуб ВВС, морской и воздушный», в «Синюю бороду», в «Клуб Путешественников», в «Клуб Ветеранов», в «Клуб Ист-Индии» и в довольно-таки мрачный клуб под названием «Перчатка и ботинок», где собирались джентльмены, лишившиеся одной или двух конечностей.

Я наслаждался чудесами и нелепостями этих почтенных учреждений британской обрядности: в одном клубе к обеденным столам были прикреплены пюпитры, предназначенные для тех, кто имеет привычку читать, поглощая завтрак или ужин; в другом стояли старинные весы, а рядом — специальная книга, куда члены клуба записывали свой вес до и после обеда; в третьем позволялось курить лишь трубки и ни в коем случае сигары; в четвёртом женщины могли появляться только в декольте и шляпках с вуалью.

И как же нам удавалось проскользнуть в мусульманских женских нарядах в эти твердыни английской традиции?

Честно говоря, сам не знаю как.

Это осталось секретом Асима: он что-то нашёптывал привратнику на ухо, а потом показывал какую-то золочёную карточку — и нас впускали без проблем.

Я был рад каждой клубной авантюре и не надоедал Асиму расспросами.

2. Стоял тёплый июньский вечер; улица Сент-Джеймс пахла пылью и выхлопными газами.

Я потел в своей бурке, но предвкушал приключение, как Отто Лилиенталь.

Карлтон-клуб — респектабельный, как похоронная контора — распахнул перед нами свою чёрную полированную дверь.

Асим сунул под нос охраннику таинственный золочёный пропуск, и мы вошли в святая святых консервативной партии.

По импозантной каменной лестнице мы поднялись на второй этаж, в обеденный зал.

Помню, там стоял мраморный бюст Веллингтона и висели портреты Дизраэли, Черчилля и других начальников.

Столы в зале были покрыты белоснежными скатертями, на них блистало серебро вилок и ножей.

Стены были отделаны инкрустированным деревом.

Люстры источали приглушённое сияние.

Зал был пуст, только в дальнем углу какая-то компания расположилась за большим круглым столом.

Мы с Асимом прямо туда и направились.

Каково же было моё потрясение, когда я рассмотрел через прорезь своей бурки двух сидящих: Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачёв!

И за тем же столом: Ринго Старр, Салман Рушди, Джоан Дидион, Майк Тайсон и Генри Киссинджер.

Леди Тэтчер воззрилась на нас и молвила:

— Присаживайтесь, дорогие мои, мы вас заждались совсем.

Я сел рядом с ней, а Асим возле Киссинджера.

Тэтчер наклонилась ко мне:

— Я сегодня, наверно, ужасно выгляжу. Мне бы тоже не помешала паранджа.

И действительно, у неё был усталый вид, словно она перестаралась с разными политическими проектами.

Я хотел быть вежливым и прошептал:

— Ваш вид не имеет значения, вы ведь уже замужем. Так что вам не о чем беспокоиться.

Она как-то кисло осклабилась.

Тут в разговор вмешался Горбачёв:

— Маргарет ещё хоть куда и могла бы стать президентом Российской Федерации!

Ринго Старр возразил:

— Быть президентом — это, должно быть, очень утомительно. Мой девиз в жизни: НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СЕБЯ НЕ УТОМЛЯЙ!

— Ну, это не моя философия, — скривилась леди Тэтчер. — Ваш девиз не имеет ничего общего с настоящей философией.

— Да нет, — возразил Салман Рушди, внимательно всё слушавший. — Философия связана с утомлением. Например, когда вы просыпаетесь утром и только-только продираете глаза, то иногда даже не можете вспомнить, кто вы и какая у вас фамилия. А потом вдруг вспоминаете и на вас снисходит великое утомление! Понимаете, о чем я? Разве это не философия?

— Лично я, когда просыпаюсь, сразу вспоминаю, кто я, — сказал Горбачёв. — Я прекрасно помню, что был президентом СССР и что меня лишил президентства этот алкоголик Ельцин, но я всё равно чувствую себя прекрасно и нисколько не горюю. И даже если я вдруг вспоминаю

о Чернобыле или ядерной угрозе, то тоже не утомляюсь, а скорее возгораюсь и возмущаюсь!

В подтверждение своих слов он ударил кулаком по столу — да так, что вся посуда зазвенела.

Майк Тайсон, который сидел на другом конце табльдота, вдруг бурно расхохотался и крикнул:

— Я хочу быть папой римским! Я хочу отвести вас всех к реке Иордан и крестить во имя живой жизни! Я хочу, чтобы вы заново родились! Я хочу, чтобы вы в новой жизни были праведными и совершенно невинными, как слепые котята!

Генри Киссинджер хмыкнул:

— Майк, ты слишком много хочешь! Лучше просто захоти Жизель Бюндхен!

Между тем леди Тэтчер прикончила большой кусок творожного торта и потребовала у официанта ванильное мороженое с сиропом.

— А вы верите в ядерную войну? — спросила она, ткнув в меня маленькой серебряной вилкой.

Я поколебался и ответил:

— Честно говоря, нет. Как и большинство людей, я не верю, что две ужасных вещи могут случиться одна за другой без перерыва.

— Что вы имеете в виду? — удивилась Тэтчер.

— У меня сегодня уже был приступ геморроя.

— Ах вот как! В таком случае, я бы посоветовала вам не пить слишком много красного вина, когда вы едите красное мясо.

Тут только я заметил, что мне до сих пор не принесли ничего съестного, хотя под ложечкой у меня сосало.

— Я бы хотел такой же торт, как у вас, — промямлил я, глотая слюнки.

— That's silly! — вскричала Тэтчер. — Вам обязательно нужно съесть омара! У них великолепный омар сегодня! И скажу по секрету: в кулинарии мясо омара считается деликатесом не напрасно. Если вы будете ежедневно кушать мясо омара, то избежите импотенции и апоплексического удара!

— Thank you, в таком случае я хочу омара.

Тэтчер щёлкнула пальцами и крикнула «псст!», но официант почему-то не появился.

Тогда она обратилась к Ринго:

— Принеси нам белого мяса омара и белого вина с Мадагаскара. Причём мясо сначала, а вино после!

Потом она сказала:

— Я очень люблю русских. Они щедры и великодушны. Особенно они щедры, когда у них есть деньги и их сопровождают дети и внуки. Однажды я была знакома с Мишей Голицыным из древнего княжеского рода. Он жил в Монако. Это, кстати, одно из лучших мест на свете. Миша считал меня самой красивой женщиной в мире, но он слегка боялся своей жены из рода князей Хованских. Поэтому мы встречались тайно. Он обычно говорил: «Иди, купи себе что-нибудь в универмаге „Selfridges" — что угодно, но только быстро!» Он боялся, что его жена застукает нас вместе.

— Наверное, это было ужасно? — спросил я.

— Да, это было ужасно! Но я его всё равно обожала. Однажды я ему сказала: «Хорошо, я пойду в универмаг и куплю костюм для моего мужа. Он будет тебе очень благодарен».

Я рассмеялся, хотя паранджа мне немного мешала.

Миссис Тэтчер тоже расхохоталась, показав свои идеальные зубы.

В этот момент Ринго поставил передо мной огромное блюдо с мясом омара.

Но, увы, я не успел притронуться к деликатесу.

3. — Здравствуйте! — раздался сзади важный девичий голос.

Я вздрогнул и резко обернулся.

Надо мной стояли две знаменитости из российского арт-коллектива Pussy Riot — Надежда Толоконникова и Мария Алёхина собственной персоной.

Судя по всему, они только что вошли в зал и сияли от удовольствия и косметических ухищрений.

Толоконникова была наряжена в роскошное красное платье с крупной флуоресцентной надписью «RESISTANCE», а на Алёхиной красовалась кожаная мини-юбка и фиолетовая шуба.

Их сопровождал Элтон Джон — английская поп-звезда в жабо и жёлтых ботинках.

— Ай! — вскричала Маргарет Тэтчер и почему-то уставилась на меня с превеликим испугом.

— Ого-го! — подал голос Майк Тайсон.

— Что-то не так? — спросила Джоан Дидион, подслеповато щурясь.

Генри Киссинджер вскочил со стула:

— Нужно вызывать констеблей!

— Зачем? — возразил Майк Тайсон. — Мы и сами разберёмся.

Один прыжок — и великий боксёр оказался рядом с Асимом, спрятанным под буркой.

Тайсон сорвал с моего друга паранджу: открылся бледный маленький пакистанец с растерянной улыбкой.

— Ах вот оно что! — закричал Генри Киссинджер, рассерженно потрясая кулаками.

А леди Тэтчер сощурила глаза и сказала:

— Какой гнусный обман. Мы ведь думали, что это Надя и Маша пришли сюда в бурках, чтобы было веселее. А оказывается, к нам нагрянули супостаты. Взять их!

Майк Тайсон навалился на меня всем своим многопудовым телом, и я услышал, как трещат мои кости.

Справиться с чемпионом не было никакой мочи.

4. Через минуту мы с Асимом стояли без бурок, выставленные на позор и осмеяние всего Карлтон-клуба.

Леди Тэтчер произнесла короткую диатрибу:

— Наши дорогие Надя и Маша опять разоблачили скрытых врагов демократической культуры. Браво, Маша и Надя! Вы явились вовремя: два анонимных негодяя, две безродных канальи не смогли осквернить наш банкет равноправных! Эти уроды нелегально проникли в Карлтон-клуб, скрывая свою грубую внешность под национальной одеждой, чтобы надругаться над традициями Запада и Востока. Однако слабосильные интриганы не смогли осуществить свои злостные планы. Карлтон-клуб не имеет ничего общего с ряженым балаганом! Вы — два шарлатана, два низкопробных профана! Вы наверняка наркоманы и клептоманы! Прочь из нашего ресторана! Валите в свои дешёвые кафешантаны!

Тут Майк Тайсон схватил меня за нос, а Ринго сдавил Асиму ухо, и они потащили нас из обеденного зала вниз по парадной лестнице на первый этаж — к входной двери.

Эта чёрная лакированная дверь была уже открыта привратником настежь: нас явно собирались выкинуть наружу.

5. И тут я вспомнил замечательного французского поэта Франсиса Понжа.

Дело в том, что у него есть чудесное стихотворение под названием «Удовольствие двери».

Вот оно:

Короли дверей не касаются. Им незнакомо это благо: толкать вперёд, осторожно или резко, одно из этих привычных больших панно, а затем, обернувшись к нему лицом, возвращать его на место — заключать в объятия дверь.

Какая радость: схватить за брюхо с фарфоровым кольцом это высокое препятствие одной из комнат; по ходу быстрого сближения шаг немного зависает, раскрывается глаз и всё тело обустраивается в новом пространстве.

Оно всё ещё придерживает её дружеской рукой, прежде чем решительно оттолкнуть и закрыться — что приятно обеспечивается щелчком мощного, хорошо промасленного рессора.

Вспомнив это превосходное стихотворение в прозе, я попытался ухватиться за дверь Карлтон-клуба — и мне это удалось на секунду.

Я держался за бронзовую ручку двери, а Майк Тайсон изо всех сил тянул меня наружу.

Я подумал: «А вдруг он меня разорвёт, как червяка, на две половинки?»

И ещё подумал: «Какого чёрта? Зачем мне все эти придурки — Киссинджер, Тэтчер, Горбачёв, Толоконникова, Рушди? Зачем этот дурацкий Карлтон-клуб и его члены? Неужели я сам такой же дурак, как эти леди и джентльмены?.. Да ведь нет же!.. Не может этого быть! Не такой я!»

И, держась за чёрную дверь, повиснув в мёртвой хватке боксёра, я сильно затосковал о Франсисе Понже, который умел получать удовольствие от самых простых вещей: сигареты, стола, листа бумаги, дерева, куска мыла.

Он считал, что все вещи хотят выразить себя и в своей немоте ожидают пришествия Слова, которое раскроет их скрытые глубины.

Неодушевлённые предметы претерпевают человеческое невнимание с тайной надеждой: вот придёт истинный пиит и их наконец восславит.

Вещи, как и люди, ждут Мессию.

6. А если никто уже не придёт, кроме Тэтчер и Рушди?

Придёт, обязательно придёт, глупышка.

Повиснув на двери — между Сент-Джеймс-стрит и Карлтон-клубом — я ждал Франсиса Понжа, который меня в моей немоте оязычит.

РАЗМОЛВКА С ПЛУЦЕРОМ

Спасают занавески.

Леон Богданов

1. Первую половину солнечного весеннего дня, отмеченного буйным цветением вишнёвых деревьев и запахом лошадиных яблок на Ринге, Александр Давидович Бренер провёл в Художественно-историческом музее города Вены, где созерцал картины Брейгеля, Веласкеса и Кранаха Старшего.

Это было бы весьма приятное и содержательное времяпрепровождение, если бы Бренер не испытывал лёгкое, но неотступное недомогание: ему докучали геморроидальные шишки, воспалившиеся после утреннего испражнения.

А ещё — и это было куда невыносимее — он ни на секунду не мог избавиться от неясной тошнотворной тревоги — всегдашней спутницы его мизерного существования.

Но инфанты Веласкеса восхищали и рассеивали всякие сомнения: жизнь может удасться, душа должна быть хороша.

Однако во второй половине дня светлые впечатления от посещения музея резко сошли на нет: идя по Мариягилфер-штрассе, Александр Давидович наткнулся на литератора Алексея Юрьевича Плуцера-Сарно.

Принесла нелёгкая!

Бренеру почему-то показалось, что за шиворот ему упала острая жёлтая сосулька.

А ведь эта встреча не была вопиющей неожиданностью: Плуцер-Сарно гостил у Бренера в Вене уже третьи сутки.

Трое суток — за такое время может родиться и умереть миллиард ярких, сияющих звёзд.

2. Сначала — первые два дня — всё шло неплохо.

Встретившись в столице Австрии, старые приятели пили кофе-меланж в знаменитом кафе Шперль, что находится на Гумпендорферштрассе.

Потом гуляли по Первому району Вены, где высится собор Святого Стефана и стоят имперские, чиновные, торговые, военные, зажиточные здания.

Пили пиво и ели брецели.

Плуцер-Сарно ночевал в двухкомнатной квартире на Штумпергассе — тогдашнем пристанище Бренера и Барбары Шурц, бренеровской возлюбленной.

Собственно говоря, этим всё и ограничилось: Плуцеру, путешествующему по Европе, нужен был ночлег; Бренер предоставил его.

Никакой близости между ними не было; просто повстречались в Вене два человека, знакомые по Москве, по карнавально-брутальным 1990-м годам.

В ту далёкую пору Бренер подвизался на поприще московского искусства в качестве обнажённо-гротескного идиота и безобразника.

А Плуцер — выпускник философского факультета Тартуского университета и ученик Ю. М. Лотмана — работал над «Словарём русского мата» и какими-то другими проектами.

Что-то варилось в этих двух головах, какие-то не совсем чистые испарения клубились в них, какие-то зачаточные мысли, как блохи, прыгали, какие-то химеры будоражили воспалённое воображение.

Культура — вот в какой страшной сказке жили два эти создания.

Культура — то, что превращает живые мысли и чувства в книги и картины, в фильмы и эссе, в дискуссии на подиуме и телевизионные передачи, в диссертации, газетные рецензии и престижные премии.

Культура — взрастительница, властительница и губительница детей, юношей и мужей, девушек в цвету и созревших матрон.

Культура — толща институций, аппаратов, социальных сетей, знаний, верований, предрассудков, учений и норм, через которую должен пробиться человек, чтобы стать поэтом, бестией, ангелом, просто никем.

3. Но забудем на минуту Плуцера и Бренера и поставим вопрос таким ребром: как нам осмыслить ту метаморфозу, которую претерпела российская культура в первой половине 1990-х годов, когда ухнулось многолетнее владычество советских союзов творческих сил: Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза художников?

Всё тогда съехало с катушек, всё погрязло в сумятице, в бездорожье, в непролазной грязи, и однако же контур будущей дороги постепенно вырисовывался для более или менее внимательного наблюдателя.

Как это бывает в истории: Идею сокрушило Событие.

В данном случае событием был развал СССР, а идеей — независимая неофициальная культура без барышей.

Гипотеза неофициальной культуры, созревавшая в недрах советского строя в период после Второй мировой

войны, соприродна политической гипотезе, облюбованной советскими диссидентами.

И политические диссиденты, и неофициальные художники пытались изобрести такой велосипед, на котором они могли бы умчаться в воображаемую даль и от смертоносного убожества советской культуры, и от пугающей капиталистической машинерии, которую они наблюдали из своих московских и ленинградских гнёзд со смешанными чувствами: с испугом и восхищением, с обожанием и недоверием, с почтением и смятением.

Диссиденты, как и подпольные писатели и художники, искали возможность третьего пути — в стороне от капиталистического хищничества и партийно-номенклатурного растления, — и пестовали в своей фантазии какую-то чистую, незапятнанную модель жизнестроительства.

Если внимательно взглянуть на деятельность Елены Боннэр и Андрея Сахарова, Юлия Даниэля и Андрея Синявского, Владимира Буковского и Александра Гинзбурга, Веры Лашковой и Юрия Галанскова, Анатолия Марченко и Ларисы Богораз, Петра Григоренко и Татьяны Великановой, то становится ясно: они не были политиканами, заигрывавшими с Западом, а скорее наследниками великого русского предания, давшего стране разночинцев и народников — искателей правды и справедливости.

Точно так же творчество Юло Соостера, Владимира Яковлева, Михаила Рогинского, Михаила Чернышова, Владимира Янкилевского, Александра Арефьева, Евгения Михнова-Войтенко или Бориса Кошелохова свидетельствует о несовместимости настоящего нонконформистского искусства с каким-либо официальным каноном — советским, постсоветским или западным.

Произведения Евгения Харитонова, Леона Богданова, Яна Сатуновского или Павла Улитина тоже исключают

любую идеологическую или рыночную конъюнктуру, в которой эти великолепные поэты и прозаики могли бы обустроиться.

Игнорируя и преодолевая тупые ограничения советского режима, художественный андеграунд дал чудесную теневую культуру, так что иным даже показалось: ночное солнце воссияло.

Но тут грянула горбачёвская перестройка, а за ней и падение СССР — и вся эта прекрасная нелегальщина, всё это подспудное движение сопротивления, вся эта блаженная партизанщина, весь этот юродивый заговор головоногих пришёл в расстройство и самоликвидировался.

Наступила новая эпоха — лихорадочной книгопромышленности и хаотической выставочной деятельности, культурного рёва и гешефтмахерства.

Для уцелевших изгоев-художников и неформалов-писателей, прятавшихся в щелях и складках советского пугала, открылись невиданные окоёмы социальных благ и материальных милостей: поездки за границу, продажи, известность, общественное внимание.

И выяснилось: в каждой культурной политике малого или большого масштаба рано или поздно встают два фундаментальных вопроса: 1. о престиже и 2. о свиной отбивной.

Так случилось и на сей раз.

Тогда-то на руинах старых советских аппаратов и замельтешили недавние маргинальные деятели, озаботившиеся хлебом насущным, саморекламой, карьеризмом, встраиванием в нарождающуюся конкурентную сутолоку, тщеславным делячеством и институциональным шкурничеством.

Борьба за новую культурную власть началась.

4. Провозвестниками этого движения были две силы, комплиментарные друг другу: интеллигентские художники и литераторы, известные под ярлыком «московский романтический концептуализм», и культурный люмпен-пролетариат под руководством Эдуарда Лимонова.

Пригов и Лимонов — вот, в сущности, два глашатая этого периода.

Пригов — умный словесник-перформансист, художник-крохобор, староста в тюремной камере искусств, гробовщик идеалистического прекраснодушия, усердный работник и инспектор всего происходящего, глаза и уши культурного начётничества, стратегический консультант и самый деятельный штабс-офицер генерального штаба вооружённых сил концептуально-дискурсивного воинства.

Эдуард Лимонов — умелый и плодовитый писатель, готовый ради успеха на всё, смекалистый литературный и политический провокатор, побывавший в людях культурный приживальщик и помыкавшийся в разных странах авантюрист, цепкий и выносливый рыночный артист, поднаторевший на Западе в делах «автопиара» и «имиджмейкерства», оппортунист, во всеуслышание заявивший, что он «не какой-то там авангардистик, а явление мощное, всемирное».

Героический активизм лимоновского национал-большевистского натиска поставил российскую культурную среду на уши.

Совершенно разные характеры — от Егора Летова до Тимура Новикова и Сергея Курёхина — соблазнились этой халтурой и закричали: «Сарынь на кичку! На абордаж!»

Концептуалисты и лимоновцы действовали, разумеется, не в культурном вакууме, а на новообразовавшемся базаре всевозможных культурных продуктов и идентичностей, где селёдки на газете Оскара Рабина тягались

с вурдалаками Мамлеева, евразийский воин-оратай Дугина — со скатологическими парторгами Сорокина, а популистский мескалин Пелевина — с телевизионной горчицей Жванецкого.

Концептуалисты и лимоновцы лучше всех сообразили, что художественная карьера зависит теперь не от гэбэшников и их культурных приспешников, а от международных кураторов и пропагандистского клёкота в средствах массовой информации.

Так оформился новый культурный порядок под девизом: НАМ, АРТИСТАМ, СНОВА ДАНА ВЛАСТЬ ВЯЗАТЬ И РЕШАТЬ — И МЫ ЕЮ ВОСПОЛЬЗУЕМСЯ!

Вот уж поистине: покушение с негодными средствами.

Лучшие кухонные писатели и чердачные художники верили, что искусство уводит человека в мир иной, где о дельцах и шельмецах наконец можно забыть.

А тут опять — дельцы и шельмецы.

5. Вслед за Приговым и Лимоновым потянулись юные и не столь уж юные деятели, нацеленные на масс-медиальную шумиху и общественный фурор.

Тут в голову приходит, конечно, Олег Кулик — экспозиционер и художник, изготовитель пирогов с пропердольками и корифей эстетического хвостовиляния.

Рядом с ним действовал будущий «нонспектакулярный» авторитет — великий художественный аппаратчик ждановского типа Анатолий Осмоловский, координатор и организатор разных групп, движений, демонстраций, журналов и клик.

Тимур Новиков с его аполлоновской Академией — талантливый художник, впавший в политиканство и словоблудие.

И был ещё Ярослав Могутин — пионер геевской культуры и приспособленец новейшей формации.

Ну и полчища других новоиспечённых затейников, прохвостов, деляг, резонёров, шулеров, патриотов, консерваторов, прогрессистов, коммерсантов и валютчиков.

Все они поняли и приняли элементарную истину: времена меняются — и люди вместе с ними должны (нос по ветру держать).

Бывшая маргинальная культура из заоблачного подполья одним махом взлетела на бугор публичности.

И возник неизбежный конфликт: как примирить бывший статус оппозиционеров и бунтарей с новым статусом искателей культурной прибыли?

Конфликт этот решился единственно верным способом — двурушничеством.

Бывший хулиган Эдичка — живучий боец, кипучий купец — знал цену хлебу словесному и проявил себя крепкоруким пекарем, изготовляя свои караваи и крендели, куличи, шанежки, краюхи, чуреки и калачи, приправленные сахаром, солью, спермой, кровью и национальной гордостью.

Умелым двурушником оказался Осмоловский, у которого левая сконфуженность и романтические поползновения очень быстро урезонились погоней за жирным куском, расчётом и злостной обыденщиной.

Как хорошо знал ещё Стендаль, ни юношеские порывы, ни житейский разум не обещают ничего хорошего: первые обречены на гибель при столкновении с грубой действительностью, а второй означает отказ от естественных чувств и поступков, продиктованных верой в нечто высшее.

Современный художник, ни во что не верящий, хотя и боящийся подлинного неверия, любит двурушничество.

Осмоловский, выложивший со своими соратниками ХУЙ на Красной площади, и Могутин с наколкой батайевского Ацефала на ноге — типичнейшие культурные холуи, ведущие двойную игру, на которую снисходительно смотрит просвещённая публика.

С течением времени эта игра приводит к социальной респектабельности и вполне заурядному творчеству.

Павел Пепперштейн стоит сегодня рядом с Виктором Пелевиным, Захаром Прилепиным, Дмитрием Быковым и Михаилом Елизаровым: браво, герой!

А вот и новейшее поколение: Павел Арсеньев и его литературные акционисты-приятели — товар на экспорт и товар на внутренний рынок зараз.

С одной стороны великодержавная акклиматизация, а с другой — медиально-протестная мобилизация!

Как объявил корифей нынешней книготорговли Владимир Сорокин: главный критерий — конвертируемость.

Вот канон и закон современных российских художников и писателей.

Это про них поэт, воровавший по ночам мыло в ЦЕКУБУ, сказал: запроданы рябому чёрту на три поколения вперёд.

Это про них он сказал: помесь попугая и попа.

Ну а где же те маргиналы, которые нагло отказывались от общественного признания?

Где творцы, творящие без разрешения?

Они в своих гробах, на разных — известных и неизвестных — кладбищах.

Они ведать не ведают о тех премиях, которые им посмертно присуждаются.

И они уже не воскликнут в изумлении, как тот анонимный офицер, что присутствовал на великолепной коронации Наполеона Бонапарта в Соборе Парижской

Богоматери: «И ведь столько людей шло на смерть, чтобы только помешать нам увидеть снова всю эту красоту!»

6. А ведь всё могло бы пойти совершенно иной колеёй.

Перед глазами и под рукой постсоветских художников оказались чудесные книги, удивительные картины и блестящие фильмы — вынырнувшие из архивов и снятые с полок, новооткрытые, только что переведённые или заново опубликованные, привезённые из заморских стран, выставленные на всеобщее обозрение, позволяющие всё передумать, разобраться, пересоздать себя.

Но художники ничего не пожелали понять, ни во что не вдумались.

Вернее, они всё увиденное и прочитанное подмяли под себя, узрели во всём только самих себя.

Как твердил мне Анатолий Осмоловский: «Я верю в себя! Я верю в себя!»

Но ведь это же чепуха, ерундовина.

Верят не в себя, а в Идею, в Образ, в Красоту.

Верят в Бога, в истину.

Верят в Аллаха Прощающего.

Верят в очищение, в трансмутацию, в перерождение.

А от себя, маленького, всеми силами отделываются, освобождаются.

Тот, кто истинно верит, бежит от своего «я», как от бубонной чумы.

Верят не в себя, а в мальчугана в себе, в бестию в себе, в поэта в себе.

В Богоматерь верят, в Идиота, в избавление.

Верят в ДРУГОГО в себе, как сказал Рембо.

7. Ну ладно, вернёмся к нашим козявкам — Бренеру и Плуцеру.

Побродив по Вене, они завернули в квартиру на Штумпергассе — в недавно побелённые комнаты.

Плуцер купил в супермаркете упаковку пива и теперь пил — банку за банкой, одним гулким глотком за другим.

Он был огромный, заполняющий собой всё пространство, этот Алексей Плуцер-Сарно — автор «Словаря русского мата», будущий член именитой художественной группы «Война», помпадур интернета, потенциальный лауреат Сталинской, Ленинской, Гонкуровской, Пулитцеровской и Нобелевской премий, не говоря уже о премии Андрея Белого.

Ошалевший Бренер сидел и смотрел на Плуцера, не веря зенкам своим: «Какой зубр, какой ас, какой мастак!»

Плуцер был предвосхищением всех тех российских плотоядных плутов, с коими Бренер столкнулся позднее, когда жил уже не в Вене, а в Берлине, в Лондоне, в дыре европейской, в медвежьем углу: самоуверенный, тщеславный, одержимый искатель наилучшей культурной кормушки, отец, сын и святой дух всего нынешнего.

Когда-то Толстой писал в эпопее «Война и мир»: «Солдат в движении так же окружён, ограничен и влеком своим полком, как моряк кораблём, на котором он находится».

Плуцер не был солдатом или моряком, он был активистом, которого влёк и тащил громадный, чадящий, ржущий и стонущий механизм современной медиа-культуры, масс-культуры, теле-культуры, кибер-культуры, контркультуры, видео-культуры, рок-культуры — одним словом, бизнес-культуры.

Плуцер был воплощением сегодняшнего дня: загребущего, всеядного, мобилизующего, оглушающего.

Бренер смотрел на него и думал: «Неужели судьба человека написана на лице его соседа? Неужели мне предстоит видеть и слушать этого Плуцера ещё один день?»

И внутри у Бренера что-то закипало и рушилось, вроде того старинного города в Турции, который был затоплен по настоянию президента Эрдогана, пожелавшего построить дамбу на реке.

Плуцер вскрыл очередную банку с пивом и победоносно рыгнул, а Бренер вдруг встал и ушёл в другую, маленькую комнату.

Там он устроился на тюфяке и отвернулся от окна, чтобы солнце, светившее Плуцеру, не докучало ему.

Бренер не выходил из этой комнатёнки до самого отъезда Плуцера, а последний гостил на Штумпергассе ещё пару дней.

В закутке, где единственной мебелью был матрац с постельными принадлежностями, Бренер испытал ту необъяснимую радость, которую Пьер Безухов ощутил в плену у французов: радость непричастности к страшной гнетущей силе, исходящей от людей, радость сообщничества с глухарями, пустырями, дураками и тёмными углами всех времён.

Бренер провёл на своём матраце весь оставшийся день, а потом заснул в объятиях Барбары.

Она всегда спасала его наипростейшим способом: переплетаясь с ним всеми членами.

В этой позе Бренер забывал о собственном ничтожестве и обретал покой.

Однако ночью он проснулся от какого-то шума и с тоской понял: Плуцер здесь.

Шум и духота заставили Бренера встать и открыть окно: на небе сияли крупные звёзды, словно это была не Вена, а остров Крит.

«Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Какого меня? Вахлака меня?» — думал Бренер, и его охватывала смешная паника.

Он лёг и обнял Барбару.

Однако сон всё не шёл: Плуцер, судя по всему, много пил и курил в соседней комнате, а также привёл какого-то своего дружка, и они там гоготали и вели себя буйно, яро и победительно, совсем как художник Зураб Церетели, соорудивший на Москве-реке высоченный памятник Петру Великому, а потом, в день его открытия, нажаривший для своих кремлёвских друзей гору промаринованного шашлыка — да так, что вся столица прониклась шампурным запахом и слюнки стала глотать.

— Спи, моя милая... Спи, любимая...

8. Наутро Бренер затаился на матраце — и больше они с Плуцером не виделись.

Пробежали сутки, а за ними ещё одни.

Наступил день, когда Плуцер собрал свой чемодан и уехал, а Бренер так и не вышел из укрытия.

Тем всё и кончилось.

То есть никакой размолвки, объявленной в заглавии этого рассказа, в сущности, не было.

Была не размолвка, а смехотворное и нелепое бегство Бренера в соседнюю комнату, и затворничество там, и внезапное откровение: «Я сбежал от него... значит, я спасён!»

Такое вот шаромыжное прозрение.

И снова Бренер с Барбарой зажили как два дикаря, две парии.

Любовь и искусство только так и могут существовать: как лазейка, побег, отбытие, удаление — подальше от всех сорокиных, прилепиных и лимоновых.

Что же касается Плуцера, то он впоследствии проделал типичную траекторию: из филолога и литератора

превратился в известного акциониста, могучего блогера и крупного медиа-художника.

Время от времени до Бренера доходили слухи о похождениях Плуцера и его коллег из арт-группы «Война», так что Александр Давидович диву давался и даже ревновал — чужие лавры не давали ему, безмозглому, спать.

А потом до него вдруг дошло: всё это мышиная возня, сучье вымя, свиная матка, комариная плешь и собачьи попыхи.

Может, другие ребята в группе «Война» были хорошие, но Плуцер и Воротников — фруктозина ширпотребная.

И Пётр Павленский, разумеется: аппарат среди аппаратов, мочалка художественной какистократии, паникадило всемирной информационной империи.

А Пётр Верзилов и Надежда Толоконникова скоро станут биллионерами.

9. И как же удивительны — в свете всего вышесказанного — слова, записанные в далёком 1980 году ленинградским писателем и художником Леоном Леонидовичем Богдановым: «И всю жизнь будешь не признан — оцени это. Отец наш старался, чтобы мы были счастливыми, а не признанными».

В ШКУРЕ НИКОДИМА СТАРШЕГО

> Но как же быть, если второго лица в них вообще нет и диалог происходит если, то как бы между разными половинами меня?
>
> *Леон Богданов*

1. Не помню, как я узнал об Алексее Дмитриевиче Скалдине и его романе «Странствия и приключения Никодима Старшего», но точно не из мемуаров Георгия Иванова.

Возможно, в какой-то статье о символистах упоминалось имя Скалдина?

Я тогда много символистов (и про символистов) читал.

В те времена — в середине 1980-х — я сидел в Ленинской библиотеке в Москве и вместо работы над диссертацией читал Якоба Буркхардта и Якоба Бёме, Мейстера Экхарта и Фридриха Ницше, а также прозу русских символистов, прежде всего рассказы Сологуба и эссе Вячеслава Иванова.

Ещё я читал «Философию общего дела» Фёдорова, «Столп и утверждение истины» Павла Флоренского, «Опавшие листья» и «Люди лунного света» Розанова, «Три разговора» Владимира Соловьёва и ранние работы А. Ф. Лосева и находился под громадным впечатлением от поэмы «Форель разбивает лёд» Михаила Кузмина.

Моё чтение было лихорадочным и беспорядочным.

В качестве аспиранта филологии я получил доступ к редким книгам, от прикосновения к которым мои руки начинали дрожать.

Я хватался то за Николая Бердяева, то за Льва Шестова, то за Константина Леонтьева.

В какой-то момент я устал от философии и тогда-то наткнулся на книгу Скалдина.

В руках у меня оказалось волшебство с библиотечными штампами.

Это было первоиздание 1917 года — небольшой красивый том в твёрдой синей обложке (надеюсь, я ничего не путаю).

Уже сама дата выпуска поразила меня: книга была напечатана в смутное время после Февральской революции, незадолго до Октябрьского переворота.

Поэтому эта гениальная вещь прошла тогда незамеченной, хотя подлинные читатели наверняка её заметили и оценили по достоинству.

Сам я немедленно подпал под очарование этой книжицы: её твёрдой обложки, титула, набора и подзаголовков под главами.

А когда углубился в чтение, то и вовсе остолбенел.

Есть книги, которые прилипают не просто к мозгам читателя, а к рёбрам, к позвоночнику.

Скалдин проделал со мной именно такую операцию.

Сновидческая и язвительная, обрывистая и чреватая неожиданностями проза Скалдина не дала мне перевести дух до тех пор, пока я не закрыл книгу, сидя под зелёной лампой в недрах Ленинки, — абсолютно завороженный.

Знаменательно, что в том же 1917 году вышла и первая книга Т. С. Элиота — «Любовная песнь Альфреда Пруфрока»:

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherized upon a table...

Какого «you» приглашает поэт в сумерки, уподобленные усыплённому пациенту, распростёртому на операционном столе?

Стихи о скрытой болезни и опасности хирургического вмешательства напоминают читателю, что он — в 1917 году и всегда с тех пор — во владениях царя Морока.

Роман Скалдина начинается более идиллично, но тоже тревожно и загадочно: «Старый ипатьевский дом, где обычно весною и летом жила их семья, стоял среди лесов и полей на горе, на берегу широкого озера, часах в десяти езды по железной дороге от Петербурга. Густой запущенный лес укрывал дом и расположенные близ него службы; только к озеру светлело небольшое чистое пространство, да само озеро уходило широкой гладью, такою широкою, что другого берега его не было видно — как море».

На фоне этого чарующего пейзажа разворачиваются таинственные и зловещие события, не оставляющие сомнения: всё, что существует, висит на волоске.

Девиз, украшающий родовой герб Ипатьевых (и обложку скалдинского романа), гласит: «Терпение и верность», но два благородных слова звучат почти издевательски в свете диких происшествий, изложенных автором.

2. В начале повествования Никодим Ипатьев — старший сын, юноша — находится в нервном ожидании чего-то чрезвычайного: то ли любви, то ли откровения, то ли символической смерти, то ли духовного рождения.

Каждый молодой человек пережил нечто подобное.

А вокруг творится что-то непонятное юному взору и разуму.

Родная мать предстаёт Никодиму не заботливой родительницей, а вожделеющей женщиной, норовящей сбежать из дома к кому-то неизвестному.

И действительно: в один прекрасный день она исчезает.

Мимо дома каждое утро и каждый вечер проходит толпа чудовищ — то ли грязных фабричных рабочих, то ли упырей.

То ли то, то ли это — вот тональность всего, что Никодим видит вокруг себя.

Одним словом: помрачение.

Два афонских монаха являются Никодиму и просят его о ночлеге в служебном домике при имении.

А на следующий день отрезанные головы этих монахов оказываются выставленными на всеобщее обозрение на подоконнике служебного домика.

С этого момента бешеный круговорот угрожающих событий всё глубже и глубже затягивает Никодима Старшего, напоминающего своим характером персонажей Кафки: он податлив и одновременно неуступчив, как дитя.

Но если герои Кафки каким-то образом умудряются сохранить свою детскую невинность и блаженную неподатливость, то Никодиму уготована иная судьба: пасть жертвой дьявольских сил.

Так во всяком случае может показаться читателю.

3. Вряд ли имеет смысл пересказывать сюжет этого авантюрного романа, полного резких поворотов, фанта-

стических передряг, восхитительных алогизмов и пугающе-смешных подробностей.

Достаточно сказать, что Никодим живёт в мистерии, где всё полно смысла и одновременно лишено его.

Это история любви, которая ставит жизнь вверх тормашками.

Любовь — протагонист.

А ещё это приключенческая комедия, в которой всё происходит на двух уровнях: в так называемой действительности, где царит предчувствие тьмы, и в реальности души, ждущей рассвет.

Главная нить рассказа завязана на Никодимовых поисках двух женщин — исчезнувшей матери и загадочной госпожи NN.

Таким образом, речь идёт об инициации главного героя, о его превращении: из дитяти, привязанного и оторванного от матери, — в молодого человека, одержимого страстью к мистической возлюбленной.

Госпожа NN поистине странна и непредсказуема: она то по-светски любезна с Никодимом, то брутальна с ним, то прельстительна, то отвратительна, то завлекает юношу, то отталкивает.

Одним словом: чаровательница.

А вокруг госпожи NN вьётся рой тёмных существ, приспешников дьявола: купец Феоктист Селивёрстович Лобачёв, у которого есть фабрика, где «людей делают» (то ли из камня, то ли из железа, то ли из дерева), скользкий и опасный англичанин Арчибальд Уокер, рясофорный послушник и безобразник Марфушин-Муфточкин, агент анонимной акционерной компании Лейзер Шмеркович Вексельман и разные другие теневые характеры, возникающие и исчезающие, как лисы в курятнике.

С той минуты, когда Никодим влюбляется в госпожу NN, демонические персонажи прилипают к нему, и он не может от них отделаться.

В душевном смятении Никодим спрашивает: «И зачем около меня вертятся все эти Лобачёвы, Марфушины, Певцовы, Уокеры и прочие?»

И ответ на этот вопрос вроде бы один: потому что ты сам бес.

3. Вадим Крейд, автор очерка, посвящённого жизни и творчеству Скалдина, пишет о «Странствиях и приключениях Никодима Старшего»: «Тема книги — превращение человека в беса. Каждая глава соответствует определённой ступени мистерии. Главный герой живёт в мире многократно отражённых двойников. Повествование ведётся в двух планах: бытовом и мистическом».

Всё вроде бы так — и от этой констатации руки опускаются.

Да, Никодим превращается в беса: на это многое указывает.

Он постоянно попадает в капкан мелких бесов вроде Марфушина.

А бесы покрупнее, как Лобачёв, водят молодого человека за нос.

Но самым сильным бесовским искушением оказывается самое святое и чистое: любовь, Любовь.

Влюбившись с первого взгляда в светловолосую ведьму — госпожу NN, Никодим не может удержаться от восхищённого детского «ах!».

Но увы — он смешивает любовь с похотью.

Любовь в человеческой жизни и правда такова: потешна, горька, сладка, пугающа.

Мальчик Никодим страшится похоти в своей матери, но тут же сам впадает в похотливую страсть.

Смехотворным указанием на похоть является шляпа — «необыкновенный мужской цилиндр: очень высокий, светло-серый и к тому же мохнатый», обнаруженный Никодимом в квартире его возлюбленной: «На цилиндре же сверху была надета дамская шляпа со страусовыми перьями, но г-жа NN эту шляпу мимоходом сняла».

Цилиндр и шляпа пародийно отсылают к фрейдистским мотивам фаллоса и вагины, да к тому же шляпа нахлобучена на цилиндр: смех и грех!

Бедолага Никодим хочет такой же высоченный цилиндр — и заказывает его у шляпника.

А потом он этот цилиндр с досадой ломает и выкидывает.

В Никодиме любовь неистово борется с похотью.

Как сказал Скалдин в своём мессианском докладе «Идея нации»: «Грех я понимаю не как преступление против нравственности, а как противоречие смыслу нашего существования».

В этих словах — ключ к истории Никодима Старшего.

Это повесть о человеке, которому любовь никак не даётся — ну просто никак.

Но Никодим чует: без любви ему каюк!

И он ищет любовь, гонится за ней, влачится из последних сил, хватается, чтобы снова упасть, а потом подняться и лететь за любовью на край света — из села Исакогорки возле Архангельска в святую землю, в Иерусалим...

Люди, встреченные Никодимом, не помогают, а мешают ему: «Отчего так много лживых людей я встречаю за последнее время?»

Лживые люди против любви.

Но у Никодима, как у настоящего сказочного героя, достаёт смекалки и мужества, чтобы продолжать свои рискованные странствия.

Книга обрывается, не дав ответа читателю: кем Никодим в своём становлении становится — бесом или ангелом?

Или Никодимом Многоопытным?

4. Согласно архивным сведениям, Алексей Дмитриевич Скалдин написал продолжение своего романа, однако оно не дошло до нас.

«Странствия и приключения Никодима Старшего» были задуманы как первый сегмент трилогии «Повествование о Земле», но вторая часть и финал этого сочинения, судя по всему, утрачены.

Есть предположение, что в потерянных частях книги Никодим преодолевает бесовское наваждение.

Есть также мнение, что история Никодима Старшего — это история любви самого Скалдина.

Он был религиозным мыслителем с напряжённым мессианским предчувствием.

Он был изобретательным и неутомимым писателем.

Но прежде всего он был человеком, способным радоваться жизни, находя в ней потаённый смысл и блаженную бессмыслицу.

Судьба этого гения горестная.

После революции он знал лишь травлю, тюремное заключение, ссылку, клевету и лишения.

Умер он как умирают мученики.

Кроме двух блистательных эссе, книги о Никодиме, горстки стихов и прозаических отрывков от А. Д. Скалдина до нас дошло ещё молчание — наилучшее художественное

произведение, избегающее авторства и идущее на пользу всем без исключения.

Он остался одним из самых сокрытых и недостижимых русских вестников, чьё целительное послание рассеялось в воздухе, которым мы дышим из последних сил.

5. Как известно, у всех читаемых вещей есть тайное прочтение.

Оно называется мессианским, если не бояться великих замученных слов.

Читая о скитаниях Никодима Старшего, я понял, что если и есть какая-то Красота и какая-то Истина, то это красота-истина бесконечных странствий, спотыканий и утрат, а не красота обладания и божественного присутствия.

Существует лишь ворованный воздух, а не сакральный дар.

Никодим — это, конечно, я сам.

И не только Никодим, но и мерзкий послушник Марфушин-Муфточкин, и фабрикант Лобачёв, и госпожа NN, и фабричный рабочий, похожий на исчадие ада или на тель-авивского бездомного, и Лейзер Шмеркович Вексельман, и деревянные манекены, изготовляемые на лобачёвской фабрике, и вообще все сломанные, блуждающие в потёмках и жаждущие избавления создания, описанные Скалдиным.

Все они — я, как и всё вокруг, вплоть до уродливых зданий, пыли, мух, дождевых капель, цветов в заплёванных урнах и прохожих на бетонном мосту.

Я, я, я...

И тут уж ничего не поделаешь, кроме спасения от всего этого.

Вот я и спасаюсь как могу.

Спасибо вам, Алексей Дмитриевич!

ИСТОРИЯ ОТЦА

Значит, это анти-воспоминание.

Леон Богданов

1. Папа стоял и смотрел в окно — голый, в одних шлёпанцах.

Из его промежности свисало яйцо — бледное, в кровеносных сосудиках.

Он сказал:

— Знаешь ту девочку во дворе?

Я подошёл к окну и увидел Зою.

Она прыгала через скакалку.

— Ага.

— Пойди — сними с неё трусы!

Это мне понравилось.

Я надел чёрные мамины перчатки и спустился вниз.

Во дворе солнце жарило, пахло помоями.

Зоя была тут как тут.

Она перестала скакать и воззрилась на меня, как на Агамемнона.

Я присел на корточки и осклабился.

Она ткнула пальцем в мои перчатки, доходящие до локтей:

— Не жарко?

— Жалко у пчёлки! — выкрикнул я и состроил рожу.

Зоя хмыкнула:
— Дурак.
— Целка.
— Что? — удивилась она.
Указав на асфальт, я ляпнул:
— Золотой жук!
Зоя мгновенно отреагировала:
— Где?
Никакого жука, разумеется, не было.
Вернее, он был — в новелле Эдгара По.
Я эту новеллу не дочитал, но влюбился в название.
Зоя смотрела на меня, как на фраера:
— Ты дурак?
— А что?
— Дурак.
— А ты сука! — крикнул я и подпрыгнул, как гамадрил.
Она вздрогнула и попятилась.
Я издал вопль и ухитрился нырнуть под её сарафан.
Там пахло шоколадными вафлями.
Я спустил с неё трусы, но ничего такого увидеть не успел.
Она меня ударила — кулаком по башке.
Но плакал не я.
Плакала Зоя:
— Ыыыыыы...

2. Я вернулся домой в радостном настроении.
Папа сказал:
— Ты хорошо снял с неё трусы. Как Арамис.
Это был его любимый литературный персонаж.
На втором месте — Шерлок Холмс.
На третьем — Холстомер.

Мы оба были книгочеями.

— Хочешь гренки? — папа облизнулся, как кот.

— Ага.

Он долго взбивал яйца в кастрюльке с голубой каёмочкой.

При этом его собственное яйцо дрожало между ног.

— Все счастливые семьи похожи друг на друга, но каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, — сказал муж моей матери.

А я:

— Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода.

Папа подхватил:

— Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях...

Я вторил:

— Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит...

Тут в дверь позвонили.

— Что за вздор? — вскричал отец.

Он стоял и вращал глазами:

— Кого чёрт принёс?

Звонили настойчиво.

— Открывать или не открывать?! — возгласил папа.

— Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, — сказал я.

Он глянул на меня как на идиота и пошёл в прихожую.

Я же, как всегда, решил подслушивать: кто и что?

3. Отец Зои — вот кто это был!

Я слушал, как он жалуется:

— Ваш сын опозорил мою дочь!
Ну и так далее, и тому подобное...
Папа, вежливо:
— Будьте добры, войдите, прошу вас.
Потом в мою сторону:
— Поди сюда, гадина!
Вместо этого я кинулся в туалет, запер на щеколду дверь.
Папа подступился и заорал:
— Открой, дрянь!
— Пошёл в жопу, — сказал я.
Он стал ломиться:
— Жопошник! Говнюк!
Я хохотал: ха-ха-ха!
И вдруг — трах-тара-рах! — задвижка не выдержала.
Папа стоял в дверях — разъярённый, как бенгальский тигр.
Он был уже в шортах: ради гостя принарядился, лицемер.
Голый живот падал на пряжку ремня.
Я эту пряжку знал: хуже Ахиллесова копья.
— Убью, — прошептал отец, поджимая брюхо.
— Да пошёл ты!
Он схватил меня за волосы и поволок в переднюю.
Там стоял отец Зои: хряк в очках, позор человечества.
— На колени! — заорал мой старик.
Я не подчинился, как Спартак.
Тогда он схватил меня за ухо и заорал:
— Ты надругался над Зоей? Да или нет?!
— Да пошёл ты!
Он ухитрился зажать мою башку в своих лядвиях.
И принялся стегать:

— Ась! Ась! Ась!

Сначала просто полосовал ремнём.

Потом впал в азарт и бил пряжкой.

Непокорных солдат Российской империи тоже проводили сквозь строй.

Россия, ты свинья, пожирающая своих поросят!

Я вопил, как резаный:

— Сука! Хер тебе! Хуууууууууууууууууй!

Как сказала Зази в метро: «Пошли вы все вон!»

4. Прошло полчаса.

Папа сидел в кресле и молил:

— Простиииииии...

И опять:

— Прости, прости, прости...

Отец Зои уже смылся.

Я молчал и презрительно кривил губы.

Папа взял меня за руку, водрузил на своё колено.

От него пахло псиной.

Я шепнул:

— Бог простит.

На самом деле я его давно уже простил — раз и на всю жизнь.

А вот простил ли меня он?

5. Через пару дней после инцидента с Зоей я проснулся ночью от глухих стонов.

Вылез из постели, вышел в переднюю и вижу: полоска света под дверью сортира.

Стоны раздавались оттуда.

Я подумал: что такое?

Кто там умирает?

Потом пришла мысль: а вдруг в сортире любовь и это стоны наслажденья?

Или отец просто мучается запором?

Я не спросил, в чём дело, не подал голос; постоял и ушёл дрыхнуть.

6. На следующее утро отец лежал в постели с бледным лицом и чёрной щетиной.

Оказалось, что ночью он встал покакать, сел орлом на стульчак и заснул в этой позе.

И упал с унитаза.

И повредил позвоночник.

7. Я присел на край кровати:

— Как ты, папа?

А он вдруг:

— Никогда не слушайся ничьих приказов... Понял?

Я удивился: бредит он, что ли?

Но отец был твёрд и настойчив:

— Никогда не слушайся ничьих приказов!

— О чём ты, папа?

— Вот я тебе приказал снять трусы с Зои, а потом сам же тебя колошматил.

— Да я на тебя не обижаюсь...

— Мне на это плевать. НИКОГДА НЕ СЛУШАЙСЯ НИЧЬИХ ПРИКАЗОВ! Обещаешь?

— Обещаю.

— И сам никогда никому не приказывай и не командуй. Понял?

— Понял.

8. Легко было сказать «понял», а вот осуществить это на самом деле...

НЕ ПОДЧИНЯТЬСЯ НИКАКИМ ПРИКАЗАМ И САМОМУ НИКОГДА НЕ ПРИКАЗЫВАТЬ — мессианское, евангельское, благодатное предначертание.

Этот драгоценный завет отец вложил мне в уста — тоже как приказ (вот что самое смешное).

Но это был самый последний его приказ, отменяющий все приказы!

В сущности, это было отцовское завещание, когда он уже перестал быть отцом и стал мне другом.

Жить по этому завету трудно, но сладко.

ПОД ВУЛКАНОМ

> Как перечисление мест изготовления разных пищевых продуктов в надписях на консервах или на упаковке, могут быть интересны и эти, с позволения сказать, воспоминания.
>
> *Леон Богданов*

1. Есть знаменитая книга: «У подножия вулкана» Малкольма Лаури.

Прочтя её, я понял: жить под вулканом — кошмарное наслаждение.

И очень захотел под вулкан.

И вот я попал в Неаполь, раскинувшийся у подножия Везувия.

Мы с Барбарой оказались там в разгар Ferragosto — августовских каникул, справляемых в Италии.

Город был пуст, ставни в домах заперты, улицы отданы во владение крыс и котов.

Мы шлялись в поисках ночлега, надеясь на везение.

Денег у нас было с гулькин нос.

Неаполь — город трещин, расщелин, впадин, выбоин.

Но увы — от солнца в этих впадинах нельзя было спрятаться: с тихим скворчанием оно нас поджаривало.

2. Тут мы увидели McDonald's и соблазнились, глупые.

Захотелось молочного коктейля через трубочку.

Это, конечно, было преступлением, за которым последовало наказание.

Я высосал два клубничных коктейля — и ещё половину ванильного, подаренную Барбарой.

Мне было вкусно, и я охладил свои внутренности.

Потом мы пошли куда глаза глядят и оказались на площади.

Там стоял Собор Святого Януария — Duomo di Napoli.

В изнеможении мы присели на ступени перед зданием.

Показалось, что пришло отдохновение.

Но внезапно я почувствовал дикие схватки в животе, как будто кто-то раздирал когтями мои внутренности.

К счастью, напротив собора стояли кабинки — пластмассовые туалеты для туристической публики.

Я вбежал в одну из кабинок и бурно обкакался.

Сперва вышли жёсткие куски кала, потом мякоть — вязкая и пахучая.

Натянув штаны, я вышел из кабинки и вернулся к Барбаре.

3. Не прошло и пяти минут, как позыв повторился с удвоенной свирепостью.

Я кинулся во вторую кабинку, где едва успел снять портки.

Лава хлынула из моего ануса — раскалённое вулканическое варево.

Эта магма забрызгала всё: стульчак, стены кабинки, мои башмаки.

Я смотрел на ужасную массу — гладкую, волнистую, вспученную — и пугался этого зрелища.

Подтеревшись наскоро, я в отвращении выскочил из сортира и побежал к Барбаре.

Сел на ступени храма и молился, чтоб это не повторилось вновь.

Но внезапно бросился в третий туалет, где опять извергнулся.

На этот раз лавовый поток имел жёлтый цвет — и вдруг окрасился алым пламенем.

Это лопнули мои геморроидальные шишки, всю жизнь мучившие меня.

Кровь лилась непрерывной струей и залила мои единственные штаны.

К счастью, в кабинке валялась газета LA REPUBBLICA.

Я схватил её, подложил под зад и выскочил из сортирчика — он весь уже был залит кровью и говном.

4. Кончилось тем, что я замарал все пластиковые туалеты на площади.

Красота Собора Святого Януария и великолепие Неаполя померкли для меня.

В нашем мире помимо беспрерывной встряски и мук мы имеем ещё и восхищение пейзажами, живописью, книгами.

Но в тот день я не мог помыслить ни о чём таком.

В полуобморочном состоянии лежал я на ступенях Duomo di Napoli, то погружаясь в беспамятство, то пробуждаясь, чтоб обнаружить над собой грандиозное звёздное небо Италии.

5. На следующее утро я был подавлен и еле держался на ногах.

Но нужно было шевелиться и снова искать приключения.

Мы покинули соборную площадь в предвкушении какого-нибудь завтрака.

Далеко идти не пришлось: на соседней улочке продавалась Ciabatta — сущее благословение.

Мы вернулись на соборную площадь, чтобы сидя поесть.

Duomo di Napoli стоял на месте, но чего-то явно не хватало тут...

Каково же было наше потрясение, когда мы поняли, что туалетные кабинки исчезли с площади!

Сортиры убрали в целях гигиенической безопасности!

Кто-то явно решил, что моё кровавое дерьмо — симптом неизвестного недуга, чреватого страшной эпидемией.

6. В то утро солнце пекло и мы быстро замаялись.

В тени платана стояла лавочка.

Мы присели рядом с прыщавой кудрявой девушкой.

Она курила сигариллу с вишнёвым запахом.

Мы невольно внюхались в этот аромат и опьянели от него.

А курившая вдруг говорит:

— Вам, наверное, нужен ночлег?

— Да! Да! — завопили мы.

— Тогда пойдёмте со мной. Меня зовут Виттория.

Мы шли по белокаменным улицам мимо потрескавшихся домов, построенных богатыми негоциантами.

Вошли в мраморный палаццо с заплесневелыми стенами.

Этот дом принадлежал графине из рода Бобони-Орсини, по имени Эулалия.

Ей стукнуло целых сто лет, и она передвигалась в кресле-каталке с бархатными подлокотниками.

7. Зала, в которой мы оказались, была огромна и сплошь заставлена кроватями.

Под потолком висела люстра с хрустальными подвесками.

На кроватях лежали старухи, матроны и юные девушки.

Они спали, хотя время приближалось к полудню.

Наша новая знакомая Виттория сказала:

— Это члены древнего рода Бобони-Орсини, восходящего к Юлиям-Клавдиям.

Потом мы очутились на большой кухне, где готовилось что-то пахучее.

Графиня Эулалия подплыла к нам в кресле-каталке в сопровождении юницы, одетой только в лифчик и трусики.

Графиня была похожа на мощи святого Януария-священномученика.

Она пошепталась о чём-то с Витторией.

Затем графиня перешла на английский и спросила нас дрожащим индюшачьим голосом:

— Got some dough? (Деньги есть?)

— Yes. (Да.)

— Then welcome! (Тогда добро пожаловать!)

После этого Виттория провела нас в другую комнату.

Здесь громоздилась всякая рухлядь — комоды, швейные машинки, этажерки, чемоданы, шкафчики.

В углу помещалась железная кровать с измятыми простынями.

— Вот ваш ночлег, — сказала Виттория.

Мы тут же легли и забылись тяжёлым сном.

8. Проснулись мы от ужасного, невыносимого грохота.

Казалось, кто-то стучит по стенам громадным молотом.

Какая-то женщина кричала, словно её резали.

Мы сидели на кровати ошалевшие и не знали, что предпринять.

Но шум прекратился, и в комнату вкатилась графиня Эулалия.

Её сопровождала Виттория.

— Are you rich?!! (Вы богаты?!!) — вскричала графиня без всякого предисловия.

Голос у неё был надорванный.

— Not at all. (Вовсе нет.)

Наш ответ графине не понравился.

Она посмотрела на нас с негодованием.

И вдруг подняла костлявую руку, в которой держала какой-то предмет.

Это была тонкая книжица, да к тому же потрёпанная.

— Do you know what this is? (Вы знаете, что это?)

Мы покачали головами отрицательно.

— Do you know who is Dino Campana? (Вы знаете, кто такой Дино Кампана?)

— No.

Графиня воззрилась на нас с нескрываемым презрением.

Слово взяла Виттория:

— Позвольте я вам всё объясню. Дино Кампана — гениальный итальянский поэт начала двадцатого столетия. Он при жизни опубликовал всего одну книгу под названием «Орфические песни», но эта книга стала величайшим событием в итальянской поэзии. Жизнь Дино была серией падений и безумств: неуспеваемость в лицее, изгнание из университета, ссоры с семьёй, пьянство, драки, пешие дальние скитания, ночлеги на голой земле, корабельные трюмы, полицейские участки, тюремные камеры, палаты психиатрических больниц... Плодом его творчества стала

вот эта маленькая книжица. Взгляните на неё, только аккуратней, пожалуйста...

С этими словами Виттория извлекла книгу из пальцев графини и передала нам.

Тут мы увидели, что это даже не книжица, а всего лишь обложка: все страницы внутри были вырваны!

Виттория улыбнулась и продолжила:

— Экземпляр, который вы держите в руках — ценнейший уникум. У него замечательная история. Постоянно бродяжничая, Дино Кампана оказался зимой 1915 года во Флоренции, где в то время находился Филиппо Маринетти — знаменитый футурист. Дино был представлен ему и захотел сделать мэтру подарок — свой сборник стихов. Одетый в лохмотья Кампана подошёл к элегантному Маринетти с книгой в руках и сказал: «Простите, сеньор Маринетти, я только удалю отсюда те места, которые могут показаться вам непонятными». С этими словами он стал вырывать из книги лист за листом — пока не осталась одна обложка. Её он и вручил Маринетти.

Тут я сообразил: этот экземпляр находится в моих руках.

Хотя я ничего не знал о Дино Кампана, история с Маринетти мне ужасно понравилась.

А Виттория сказала:

— Графиня Эулалия — владелица этого уникального экземпляра, доставшегося ей от герцогини Антонеллы Висконти, её двоюродной тётушки, присутствовавшей на встрече Кампана и Маринетти во Флоренции. Но в настоящее время графиня Эулалия решила продать этот раритет, чтобы поддержать одну благотворительную организацию. Возможно, вас заинтересует покупка бесценной культурной реликвии?

Вот так предложение!

В карманах у нас лежало 300 долларов — на всю оставшуюся жизнь, так сказать.

— А сколько она стоит? — спросил я как можно вежливей.

Ответила сама графиня Эулалия:

— Fifty thousand bucks! (Пятьдесят тысяч долларов!)

Нам оставалось лишь руками развести:

— Таких денег у нас нет.

Что за этим последовало, не поддаётся описанию.

Как будто пронёсся страшный циклон и около пяти миллионов людей остались без крова и пропитания.

Мы были с позором изгнаны из палаццо Бобони-Орсини и опять оказались на горячих камнях Неаполя.

В отдалении виднелся Везувий — один из трёх действующих вулканов Италии.

9. В своей жизни я старался следовать одному правилу: обращаться за помощью к людям только в крайних случаях.

После нескольких ночей на улице я посчитал, что крайний случай наступил, и позвонил в Милан одному знакомому художнику.

Я спросил, нет ли у него друзей в Неаполе, которые могут нам посодействовать.

Художник дал телефон своего приятеля — неаполитанского концептуалиста Маттео Фратерно, всеми уважаемого.

Я позвонил Маттео и сказал, что отчаянно нуждаюсь в пристанище.

Маттео любезно предложил мне воспользоваться его загородным домом, стоящим у подножия Везувия.

Мы с Барбарой тут же отправились по указанному адресу.

И действительно: под склоном вулкана в каменистом урочище помещался дом Маттео Фратерно, художника.

Ключ мы получили от его соседа — и тут же устроились.

Это было настоящее чудо: однокомнатная каменная хижина.

На участке рос виноград и персиковые деревца.

Мы вымыли пол, сварили спагетти, выспались...

А потом просто сидели и смотрели на маленьких шустрых ящериц, бегавших здесь и там.

На вулкан, громоздившийся сверху, не было сил идти.

Я всё ещё был слаб из-за потери крови, и мои геморроидальные шишки причиняли страдания.

Так мы прожили недели две — наисчастливейшие.

Счастье, как сказал кто-то из мудрых, — в его предчувствии.

Счастье всегда висит на ниточке.

И оно в очередной раз гикнулось!

Маттео Фратерно изгнал нас из своего райского домика.

Кто-то ему нашептал, что я опасный хулиган, который может сжечь его поместье дотла.

Это сообщение принёс нам сосед, и оно было вроде внезапного извержения Везувия:

— Руго-го-гон!

Мы чуть не окочурились, бедные.

Но уйти всё равно пришлось, и незамедлительно.

На Везувий мы так и не поднялись никогда.

Но, фигурально выражаясь, я и так смотрю в жерло вулкана каждый день.

10. И вот что я думаю: каждое происшествие в моей жизни всё дальше выбрасывает меня за пределы социума.

Стоит мне только покакать или вежливо поговорить с кем-нибудь, стоит написать письмо или сочинить рассказ — и за этим следует неизбежный остракизм, изгнание.

Я всё дальше ухожу от рода человеческого.

И мне это нравится.

САМЫЙ НЕВИННЫЙ ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ

> Надо было короче сказать, что в момент, когда она сидит со мной, она как бы переживает землетрясение.
>
> *Леон Богданов*

1. Есть вещи, которые можно рассказать, а есть такие, о которых рассказать нельзя, но ты всё равно пробуешь.

Я хочу рассказать о своих попытках сохранить чистоту, невинность, девственность.

Но зачем мне эта девственность понадобилась?

Дело в том, что я чуял: взрослость — ложь.

Это ведь и правда так.

Когда я был подростком, взрослость казалась мне мороком.

Потом я понял, что эта катастрофа мне не грозит, потому что я недоделанный от рождения.

Я избегал взросления — нелепо, но настойчиво.

Пережив бурный роман с Ларисой К., я понял, что не хочу больше никаких сексуальных отношений, ибо они кончаются хламидиозом, гонореей, мандавошками и страшными душевными муками.

Тем не менее я тянулся к девушкам и любил их компанию гораздо больше любой мужской.

Я знакомился с барышнями прямо на улице: следовал за какой-нибудь красавицей, любуясь её затылком и икрами, а потом набирался смелости, подходил и знакомился.

Так я привёл в дом своих родителей юницу с египетскими чреслами и чёрной чёлкой над глазами-махаонами.

Ей нравилась моя болтовня о поэзии, а ещё ей нравилась моя комната.

Она приходила ежедневно, мы запирались и изнемогали от ласк.

Она раздевалась догола и садилась на меня одетого.

Ей хотелось соитий, но я их не допускал.

Она чувствовала, что мой член ищет её: трётся, бьётся, как кошачий хвост.

Но я не разрешал ему углубиться в неё.

Вместо этого я теребил её соски, сосал рот, лизал щель.

Я искал её клитор и находил.

Я доводил её до оргазма, от которого она содрогалась, как получивший пулю олень.

Но я не дрючил её, и она перестала ходить.

Взамен появилась другая — буйная Таис.

Это была блондинка с чёрными корнями волос и грудями-спринцовками.

Она загорала на искусственном водохранилище на краю города, а я к ней подкрался, как к Сусанне — похотливый старик.

В глаза бросился белый шрам на её тёмном от солнца животе.

— Ты меня напугал, — сказала она. — Ты пидор или кто?

Она пахла как узбекская дыня, вспоротая ножом.

Мы не расставались несколько дней.

Она была пролетарской вакханкой, предназначенной для оргий среди фабричных руин.

Она жила в бараке, где на маргарине жарился лук.

Там, в своей комнате, она обнажалась и бегала от меня, вырывалась, давала себя схватить.

Я валил её на пол, она брыкалась, подставляя подмышки, лобок.

Я сжимал её, тискал, она лопотала, как возбуждённый примат.

Ей бы жить в сельве, в обезьяньей ватаге, среди попугаев и скользких лиан.

И чтобы её оприходовал дикий кабан.

А я эту деву не брал, не имел, не вставлял, не порол, а просто по бёдрам её своим бесполезным удом стучал.

— Ты очень большой дурак, — сказала она.

И я снова остался один.

Какое блаженство: покой, тишина, ни вопля, ни вздоха, мир на земле.

Я думал: «Хорошо бы так и со всем остальным: ничего не иметь, не владеть, не толкаться, не впихивать, не познавать».

Я думал: «Не надо быть важным, не надо бухтеть в унисон, гнать пургу и жрать их харчи, не надо глаза отводить, не надо юлить и пудрить мозги...»

А что же тогда, если всего этого больше нет?

Да просто лежать, обниматься, в парке гулять...

И глядеть, и молчать.

Вот так я чувствовал, но на деле не осуществлял.

У меня не получалось: я по-прежнему нянчился с собой, пробовал быть то любовником, то писакой, то вором, то молодчагой.

А вот Леон Богданов сумел всего этого избежать.

Поэтому он самый невинный, нетронутый, чистый, ни в чём не замешанный, праведный, лучший писатель русской земли.

2. Я думаю, что Богданов был счастливым человеком, хотя у него часто болела голова и он злоупотреблял курением, плохим вином и чифиром.

Однако стоит прочитать несколько его строк и становится ясно: в наивысшем смысле с ним всё в порядке.

Вот что он, например, пишет:

«Нравится прибирать перемытую после гостей посуду. Много вилок, ложек, рюмок, чашек. В субботу, когда все допоздна занимаются своими делами, каждый своим и в своём помещении, я остаюсь предоставленным себе в прихожей. Она ничем не занята. Эта маленькая комнатка, с выходящими в неё четырьмя дверями, представляется мне идеальным местом. Как бы приспособиться в ней пить? Я сижу на корточках над банкой с мусором и курю. Свет только здесь мягкий. Из комнаты слышен телевизор, на кухне Вера печатает. Мне остаётся только готовить чай, когда ей захочется, или пить самому. На ночь в моём распоряжении, конечно, ещё и кухня, где я работаю, но на кухне свет слишком яркий, поэтому иногда я его выключаю совсем и шагаю или сижу в темноте, при слабых уличных отсветах».

Что сказать об этом отрывке?

Кто-то может подумать, что он написан затравленным и одиноким человеком, влачащим мизерное существование.

А по-моему, это про счастье, ради которого и жил этот человек, хорошо понимавший, что для счастья нужно только счастье, а не холодильник, не путешествие в Таиланд, не дача в Кунцево.

Счастье Богданова состоит из «мягкого света» и особого тревожного покоя, прерываемого признанием: «Иссушили страхи за свою свободу, поглотили элементарные отношения».

Но уже в следующем предложении опять: «И это называется покоем».

Сидя на корточках в прихожей, он спокойно и радостно ждал очередного землетрясения в каком-нибудь уголке земного шара или, лучше сказать, ждал очередного явления Мессии.

И оказывалось, что ждать-то нечего: землетрясения происходят перманентно.

Что же касается Мессии, то он всегда уже здесь — в кастрюльке с чаем, в мягком электрическом свете, в Леоне, везде и всюду.

3. «Заметки о чаепитии и землетрясениях» Леона Богданова представляют собой не дневник, а, как он сам сказал, ночник — даже когда в записях отмечается дневное, при свете солнца увиденное.

Ночь своей могучей тенью заслоняет и отменяет ложную прояснённость дня: остаётся только ясность потаённых видений.

Про это писал Вальтер Беньямин: именно в ночном зрении проступают главные образы-прозрения, возникающие не перед глазами, а где-то в подкожном зраке.

Человек оказывается стоящим перед своим происхождением, которое он позабыл.

Человеческая жизнь, пробегающая перед глазами умирающего (или в момент смертельной опасности), состоит из таких ночных вспышек-образов.

Беньямин сравнил их с детскими книжками-картинками, на страничках которых запечатлён боксёр, теннисист или балерина: при стремительном перелистывании — пшик-пшик-пшик! — эти фигурки оживают в мультипликационном движении.

Подобные образы совпадают с памятью о чём-то невиданном и незапамятном.

Это то самое за-ретинальное зрение, о котором думал Дюшан, которое стало искусством Клее, которое осваивал Вольс.

И вот из этого-то или из чего-то подобного и состоит словесное творчество Богданова.

4. Говоря кондовым языком, он был маргиналом, отбросом общества.

Его знали только близкие люди и врач в психо-неврологическом диспансере.

Но врача звали не Парацельс, поэтому он смотрел и ничего не понимал.

Близкие и домашние лучше угадывали Богданова, а то бы он совсем пропал.

Ещё его узнавали люди в очереди: иногда за пивом, иногда за чаем, иногда за сардельками.

Но он с ними не ел и не пил — предпочитал одиночество.

Ещё он появлялся в книжных магазинах, потому что любил Хлебникова и Лескова, и Анненского, и Державина, и старинных китайских писателей, и книги по искусству, и научные издания, и Фолкнера, и Тютчева, и Аполлона Григорьева...

Но, конечно, он как-то иначе книги любил — не как библиофилы и книжники.

Книги для него были не ковригами и не веригами, а сдвигами.

Именно сдвигам он учился, читая других писателей, и сам стал мастером сдвигов, смещений, уклонов и выпадений из всего.

Сдвиг — это когда всё вокруг остаётся как было, но меняется.

Ты смотришь на что-то — и вот оно преображается.

Про это опять-таки говорил мессианский мыслитель Беньямин.

Для того, чтобы научиться сдвигам, Богданову не пришлось ехать в Тибет или в Танжер.

Он научился всему дома — читая, рисуя, записывая слова в ночник и просто глядя вокруг.

Правильно будет сказать, что он стал видеть невидимое.

И спасся от всего показного, ходкого, общественного.

И приблизился к собственному исчезновению.

5. Исчезновение — самое сложное искусство для любого смертного, но особенно для писателя.

Писатель, чтобы привлечь хоть одного читателя, вечно должен рассказывать какие-нибудь занимательные истории.

Даже Беккет этого не избежал, не говоря о Борхесе.

А Богданов, будучи величайшим из всех писателей, умудрился этого избежать.

Он про себя сказал так, что точнее не придумаешь: «На пути, которым никуда нельзя сходить, т. к. на всём пути ничего открытого нет. Им можно только идти, как оттуда (из Волковой деревни) в клуб X-летия Октября. Работающий ночью на излучине гастроном речного участка и трактир в многоэтажной школе и больше нечего вспомнить. Этот одинокий путь, которым когда идёшь всё в твоей воле».

И дальше: «Я хотел бы взять путь по задворкам, на котором и человека-то не встретишь, надо брать его с со-

бой в дорогу и потом стараться не растерять двуединого восприятия».

Двуединое восприятие: это и есть искусство сдвига, о котором говорил Беньямин.

Это когда всё вокруг остаётся на своих местах, но одновременно меняется.

В сдвиге открывается зияние и сияние: уход в мир иной.

Ты тут — но ты уже там.

ТАМ и ТУТ — понимаете?

Богданов-писатель знал, что читателя надо развлекать и заманивать — писателю от этого не отделаться.

Но он довёл искусство заманивания до полного исчезновения, хотя остался великим рассказчиком.

От него до Лескова — один шаг, а следующий — до Лао-цзы.

Он научился невозможному: переводить информацию (о землетрясениях, цунами, политических заварухах и всякой всячине) в «ряд огней».

Он так и сказал: «Освещённые окна — как созвездия, а сами созвездия наблюдаются в открытые форточки — видимое гигантское световое табло. В разные часы и дни говорящее о разном, но о вещах предельно значимых».

У него, как он сам сказал, «максимум фиксации».

Он сумел зафиксировать всё, всё, всё.

И при этом у него нет никакого навязчивого метода, никакого крохоборства, никакой «геополитики» или «геопоэтики», никакого «приёма», никакого «авангардизма», никакого авторского мракобесия, как у его имитаторов, вроде Лейдермана и иже с ним.

Зато есть мысль: «У каждого человека, я думаю, своя есть постоянная надежда, мысль. У меня, прямо как мо-

литва — лишь бы ничего не случалось. Я разлюбил всякие непредвиденности, может, и раньше не любил, но, по первости, находил их занятными и интересными. Теперь мне постоянно хочется одного — лишь бы ничего не происходило, протекало бы спокойно, без лишних разговоров. Иду в магазин или на укол, или куда-нибудь ещё, и только одно опасение, что может что-то случиться, меня тревожит. Кажется, даже холод не досаждает, как эта мысль».

Это почему же он не хотел никаких непредвиденностей?

А потому что когда что-то непредвиденное случается, сдвиг не получается.

Сдвиг — это когда всё остаётся как есть, но всё становится иным: занавески на окнах, блики, дети, стоящие на замерзшей луже, сообщение в «Известиях»...

6. «Как завороженный смотрю на щели во льду, я вспоминаю, так было, кажется, они верно выражают происходящие процессы, и в этом смысле это готовое искусство или мотив и повод для создания живописи и стихов, как будто эти трещины сами по себе произведение каллиграфии».

7. «Только чай да новости, да беломор, и ничего больше не надо».

8. «Сейчас очень тихий период, и я уже привык к тишине. Так не хочется выезжать из дома. А ведь надо, становится надо и маме помочь, и по своим делам куда-то сходить. Когда же можно будет жить безо всего этого? Наверное, никогда».

9. «Справедливого землетрясения ждут. Впервые услышал, уже забыл — в связи с чем. Поразило. Их столько было и всё несправедливых».

10. «Четырнадцатого ноября произошло извержение вулкана Аренас в Кордильерах. Город Армеро залит водой и грязью. Шведы говорят, что погибло двадцать тысяч человек, но наше радио сообщает только о двух тысячах погибших. Президент Колумбии вылетел на вертолёте в район бедствия. Это всего в ста с чем-то километрах от Боготы. Извержение продолжается».

11. «Сикхские экстремисты ранили верховного жреца храма в Амритсаре».

12. «Сколько нужно облаков зараз, чтобы полить дождём больницу? Одно? Два? Сколько дождей? Она уместится под одним дождём».

13. «Трава, высыхая, выявляет свою структуру».

14. «Бесконечно мало. Очень мало, но бесконечно».

15. Вот это и есть — мессианские видения, запечатленные в человеческом лепетании.

16. Леон Богданов писал свой ночник уже не на русском языке, а русским языком — сдвиг.

ЧЕРЕП ВОЛОДИ НАЛИМОВА

> Модель хулиганского социализма или коммунизма, я не разбирался в них, поскольку это было так давно, как когда я смотрел «Пятеро с улицы Барской».
>
> *Леон Богданов*

1. Стоит мне закрыть глаза, и я сразу вижу Налимова, незабвенного Володю Налимова, вернее, вижу жёлтый костистый череп с пустыми глазницами, ведь лицо Володи очень даже смахивало на череп, на мёртвую голову.

А может, я вижу вовсе не налимовское череповидное лицо, а собственный череп, на который всё больше становлюсь похож?

Тоже вполне может быть.

Недавно я смотрел аргентинский фильм, в котором ошалевшая от злой жизни мать идёт на сельское кладбище, разрывает старую, заброшенную могилу и находит там череп сына, умершего в младенчестве, и нежно гладит его, а затем посыпает этот череп свежим прахом своего только что кремированного мужа, и шепчет: «Это тебе, сынок, чтобы не было одиноко».

У Налимова тоже была мать, страшно о нём заботившаяся, пока у неё оставались силы заботиться, а потом...

потом я не знаю, что случилось, кто из них умер первым: мать или сын.

К тому времени я уже уехал из Алма-Аты и перестал думать о Налимове, а вскоре и вовсе забыл о нём.

Почему же вспоминаю сейчас?

Да потому что мне уже трудно поверить в существование Налимова, в реальность того, что было тогда в Алма-Ате, и хочется выдумывать Володю, как какого-нибудь Аполлона Аполлоновича Аблеухова или Ивана Бездомного.

Но я плохо умею выдумывать, могу только чуть-чуть приврать.

Как сказал мой любимый писатель: «Когда понимаешь, что уже и не остаётся ничего понять — ложишься спать».

2. Итак, лицо Налимова напоминало череп, тело у него было худое, бледное и костлявое, а движения как у развинченной, расшатанной, разболтанной марионетки.

Чем-то он походил на американского актёра Гарри Дина Стэнтона, только без его фотогеничности.

Фотогеничностью тут и не пахло, скорее уж Налимов напоминал замороженного мёртвого петуха, наголо ощипанного.

Но после разморозки этот петух неожиданно ожил и смог жестоко клюнуть — в отместку за то, что с ним сделали.

Налимов полжизни провёл в сумасшедшем доме, и его от этого корёжило.

Давясь смехом, он говорил:

— Здравствуйте, милые. Знаете, что я вам скажу? Нет, не знаете: я хочу пожить в своё удовольствие, а вы мне мешаете.

Прохожие на улице сторонились Налимова: вдруг он случайно хлестнёт их своей пятернёй или локтем толкнёт?

А были и такие, которые не сторонились, а наоборот, задирали его: пацанчики из Малой Станицы или хулиганы из микрорайона, например.

Он бывал бит, и довольно жестоко, и не однажды, и не только кулаками, но и ботинками.

Он мне однажды сказал: «Поживи до сорока, и увидишь, какое это говно».

Ему тогда и было под сорок, а мне и двадцати не было.

А в каком году его не стало, не скажу: в Википедии о нём статьи нет.

В Википедии пишут о людях, которые к чему-то относятся.

А Володя Налимов был ничей.

Есть же ничьи собаки — вот и люди есть.

3. В юности Володя учился в художественном училище, но бросил учёбу и художником себя не считал.

И всё же он неравнодушно относился к искусству, а вот так:

— Выебало оно меня.

Или:

— Еби их всех в рот.

Сам Володя ничего не рисовал, но иногда показывал старый, полустёртый набросок, сделанный простым карандашом: пара присосавшихся друг к другу фигурок в эротической позе 69, лежащая на большом железном топчане.

Всегда один и тот же рисунок — и больше ничего.

Фигурки были изображены условно и без всякой сексапильности.

Налимов извлекал обрывок бумаги с этим наброском из кармана своего пиджака и показывал всем, кто был рядом и хотел посмотреть.

Люди глядели на рисунок, а Володя заливался хохотом — хриплым, глумливым, деланным.

От этого смеха становилось противно, как при виде вылезшего из молока таракана с поникшими усиками.

Если кто-то спрашивал, что этот рисунок означает, Володя отвечал:

— Означает! Означает! О! О!

Совсем как в стихотворении «Попугай» Саши Чёрного:

— У кого ты заказывал, попочка, фрак?
— Дур-рак!
— А кто тебе красил колпак?
— Дур-рак!
— Фу, какой ты чудак!
— Дур-рак!
Скучно попочке в клетке, круглой беседке,
Высунул толстенький чёрный язык,
Словно клык...
Щёлкнул,
Зацепился когтями за прутья,
Изорвал бумажку в лоскутья
И повис — вниз головой.
Вот он какой!

4. Ещё Налимов мастерил «игрушки» — так он эти вещицы называл.

Это были прутики, скреплённые разноцветными нитками.

Иногда они образовывали лесенку.

Иногда напоминали свастику.

Иногда смахивали на кособокую звезду.

Мне эти игрушки нравились.

Но Налимов их не ценил, а говорил:

— Гы-гы-гы!

У меня было несколько его игрушек, я их держал на книжной полке и любил рассматривать.

Но однажды Налимов пришёл и их сломал — просто схватил, скомкал и растоптал.

У него в тот день было плохое настроение, он лежал на полу и повторял:

— Отпусти ты меня в монастырь. Отпусти ты меня в монастырь. Отпусти.

С ним такое бывало.

5. Налимов жил на маленькую пенсию по инвалидности.

Два раза в год он лежал в психбольнице на улице Каблукова, где главврачом был профессор Гонопольский, хорошо известный в нашем городе.

Этот Гонопольский имел в своей клинике собрание художественных работ душевнобольных.

То есть он был продвинутым психиатром, осведомлённым о существовании коллекций art brut на Западе.

У Гонопольского висели шедевры мирового значения.

Например, у него находились произведения Сергея Калмыкова — крупнейшего русского модерниста и алма-атинского чудика.

Однако налимовские игрушки Гонопольский не собирал и, скорее всего, не считал Володю художником.

Люди видели в нём алкоголика, злыдня, бездельника и дурака покалеченного.

6. Конечно, советская власть предпочла бы, чтобы Налимов не сибаритствовал в Алма-Ате, а работал на какой-нибудь степной железнодорожной станции, разгружая вагоны с углём, и чтобы его уездили там до смерти,

и чтобы он поскорее исчез с лица земли, в том числе и из анналов моей памяти.

Но Налимов был живуч, как репей из повести «Хаджи-Мурат», только он не поднимался колючим стеблем из сухой земли, а шлялся по зелёным алма-атинским улицам и мастерил игрушки из прутиков, а потом их ломал.

Ко мне он приходил, чтобы съесть бутерброд с сыром и чай с лимоном попить.

Мой отец открывал входную дверь и вот: Володя не стоял на пороге, как положено, а лежал, прикидываясь покойником.

Отцу это не очень нравилось.

Думаю, он считал, что Володя оказывает на меня дурное влияние и может посеять в моей душе хаос, которого и так там предостаточно.

Моя мама относилась к Налимову приветливо, но как-то уж очень сострадательно.

А вот мне просто нравилось с ним быть.

Это было всё равно что быть с каким-то литературным олухом.

Понимаете?

Реальные люди всегда чего-то выспрашивают или выпрашивают, чем-то недовольны или подозрительны...

А Налимов ничем таким не страдал.

Он хохотал, бормотал, ругался — и всё.

Мы с ним гуляли по терренкуру или сидели в парке Горького и ничего не делали.

В эти часы я становился беззаботным и пустым, как какое-нибудь чучело огородное.

И мне это ужасно нравилось.

Я как будто был с Мартовским зайцем, Труляля или Санта-Клаусом.

Дело в том, что в Налимове ощущался смутный намёк на грядущее избавление человечества от тягот земного существования: денег, секса, плохой погоды, постылой людской речи, одиночества, отечества, политического убожества...

Однажды он мне сказал:

— Ты кем хочешь быть — рисунком или фотографией?

Я задумался.

А он вдруг загоготал по своему обыкновению, разевая пасть и пуская слюнки, как дебил.

И лёг на асфальт.

7. Володя дружил с одним необычным юношей — Мишей Куприяновым.

Они познакомились в психушке Гонопольского, где Миша лежал с диагнозом «шизофрения».

Миша был наполовину еврей, наполовину китаец, — довольно редкое сочетание.

Отец Миши покончил с собой, а мать-китаянка имела другую семью.

Миша напоминал очень красивого гамадрила: два странных глазных яблока, поразительный нос, дикая грива, тело необычайной ловкости.

У него был лик царя гамадрилов, их князя, их лучшего танцовщика, их герцога Конде.

Миша рисовал картины с экзотическими зарослями и тенями, выглядывающими из зарослей.

Миша был одновременно как дух и как животное.

Гонопольский приобрёл несколько его гуашей в свою коллекцию.

А потом Миша убил себя: лёг в горячую ванну и перерезал вены на руках.

8. О чём же я тут рассказываю?

Попытаюсь подвести итог.

Речь идёт не о самоубийцах-художниках и не о неудачниках-скульпторах, не об искусстве, которого пруд пруди, девать некуда, видимо-невидимо и конца-краю нет.

Речь не о врачах-психиатрах, не об их коллекциях, не о старой Алма-Ате, не о моей юности, не об этом и не о том...

А о чём же тогда?

Речь о человеке, который потерял себя.

Речь о том, что уже при жизни лицо Володи Налимова стало похоже на череп, на мёртвую голову.

И при этом он был неимоверно грациозен, очарователен, изыскан, красив.

Череп, судари мои, никогда не лжёт — вот его главное достоинство.

А все вокруг только и делают, что врут и притворяются.

Но череп чужд этой омерзительной болтливости, слезливым мольбам, лживым восхвалениям, жалким взглядам, убогим заверениям, хозяйским приказам, просьбам о прощении, наглым окрикам, судейским выводам и хамским понуканиям.

Череп знает: сейчас не время стенать и вспоминать об искусстве, не время рассказывать о своей боли и обсуждать прошлые оргазмы и разочарования.

Череп учит: нужно просто расти, тянуться к солнцу и быть как можно спокойнее и достойнее, как чертополох, татарник или волчец.

Череп помнит: лежать в земле так же хорошо, как тянуться вверх.

Череп ведает: все слова уже написаны и зачёркнуты, все города построены и разрушены, все пути пройдены

и заброшены, все моря изборождены и загажены, все туннели пробуравлены и замурованы, все крепости возведены и взорваны, все слёзы пролиты и высушены, все окна в домах распахнуты и выбиты, все истины обнаружены и похерены, все тела обнажены и захоронены, все времена стали одним непереносимым временем, все люди — одним существом без сущности, все их бесконечные лица — одним раздробленным на кусочки черепом.

Этот несуществующий череп, превращённый в черепки, несёт добрую весть: после жизни существует другая жизнь, в которой жизнь чертополоха и щучьей косточки важнее жизни искусства, как сказал бы Роберт Филлиу, окажись он в лагере для перемещённых лиц в Сирии.

ЛИЛЯ БРИК

Вообще в эти дни встречаются странные заметки, например, что в Ливорно пытаются поднять со дна канала скульптуры Модильяни, которые он сам туда сбросил.

Леон Богданов

1. Стояла ранняя брежневская эпоха, начало 1970-х.

В пору летних отпусков я с родителями полетел из Алма-Аты в Москву.

Помню: прямо из Домодедова мы помчались в «Славянский базар».

Там в вестибюле висели портреты знаменитых завсегдатаев: Шаляпин, Бунин, Гиляровский, Чехов, Рахманинов...

На первое заказали окрошку.

На мой вкус она немножко отдавала блевотиной.

Отец поморщился:

— Не дури, пожалуйста.

На второе котлеты по-киевски.

Помню: официант, записывая заказ, взглянул на отца с нескрываемым отвращением.

Возможно, он был антисемит или просто в плохом настроении.

Из «Славянского базара» мы отправились в «Метрополь» — в букинистический магазин.

Отец купил Тулуз-Лотрека в издании «Skira».

Потом поехали на Фрунзенскую набережную.

Генеральская вдова Нина Никаноровна сдала нам свою однокомнатную квартиру, а сама ушла к родственникам.

Её супруг был расстрелян Сталиным.

Откуда мои родители знали эту женщину?

Комната на Фрунзенской была светлая, высокая, оклеенная желтенькими обоями.

Кухня тоже просторная, и ванная.

Помню: я стоял перед зеркалом в ванной и давил свои молодые прыщи, а гной мазал на зеркало.

Позднее я выставил такую зеркально-гнойную картину в одной венской галерее на коллективной выставке.

Юношеские прыщи у меня и в шестьдесят лет не перевелись.

Квартира на Фрунзенской хранила в себе тайны за семью печатями.

В буфете лежал морской кортик с надломленным лезвием.

И стоял серебряный подстаканник с дарственной гравировкой: «От Тухачевского».

На стене висела фотография хозяйки в молодости: темноокая, пышноволосая, похожая на картину Крамского «Неизвестная».

А нынешняя Нина Никаноровна была старухой с висячими щеками и развалистой поступью.

Но она сохранила в себе юную жизнерадостность.

2. Помню: я проснулся от оглушительного раската грома и сначала не понял, где нахожусь, а потом обрадовался: в Москве, в Москве!

Прошёл летний дождь, солнце выглянуло.

Мать ушла в ГУМ за покупками, отец — в комиссионный на Комсомольском проспекте, где продавались японские фотоаппараты и транзисторы.

Я позавтракал и выглянул в окно.

Внизу был бульвар с молодыми липами, и можно было рассмотреть Москву-реку — поблёскивающую, переливчатую.

Напротив стоял ещё один сталинский дом, и в нём — распахнутое окно.

Там появилась фигура, приковавшая моё внимание: худая старуха, закутанная в цветастую шаль.

Она на меня уставилась.

И внезапно помахала рукой — маленькой, сухонькой.

Я смутился и помахал в ответ.

Тут раздался звонок в дверь.

Это была хозяйка — Нина Никаноровна.

Она извинилась и сказала, что пришла за своим тонометром — аппаратом для измерения артериального давления.

Она поглядела в распахнутое окно и увидела старуху в цветастом платке.

— Ты её узнал? — спросила генеральша-вдова.

— Кого?

— Лилю Брик!

И Нина Никаноровна объяснила, что старуха в шали — знаменитая Лиля Брик, возлюбленная Маяковского, вдова Осипа Брика, подруга Василия Катаняна.

Я, конечно, слыхал о Лиле Брик.

И был поражён: она помахала мне!

Нина Никаноровна взяла тонометр и ушла, а я всё смотрел в окно.

И вот она снова появилась — Лиля Брик.

Но на этот раз она не просто махала рукой, а делала знаки: приходи, приходи, приходи ко мне!

Я, разумеется, был поражён и сконфужен до крайности.

Но решил пойти.

3. Я захлопнул дверь и спустился на лифте вниз.

Перешёл бульвар и задрал голову.

Лиля Брик высунулась из окна и кивала: иди, иди!

Я вошёл в подъезд и поднялся на пятый этаж.

Меня, молокососа, трясло.

Одна из дверей на лестничной клетке была приоткрыта — я постучал.

— Иди, иди! — раздался голос изнутри.

Я вошёл в просторную прихожую.

Впереди было пусто — только стены и паркет.

Посреди голого пространства стояла китайская ширма — расписная, золочёная.

Вдруг оттуда выглянула старушенция.

Она вышла из своего укрытия и воззрилась на меня: Лиля Брик.

Ну очень, очень красивая, хотя и старая.

Она стояла и ничего не делала, только лыбилась.

У неё были седые распущенные волосы.

А на голом теле — ажурная комбинация.

Худая старуха, с выступающими ключицами.

И громадными ореховыми глазищами.

А всё остальное — морщины и мощи одни.

И я почему-то подумал, что она — великая кудесница.

И ужасная грешница.

4. Лиля Брик стояла посреди комнаты и улыбалась мне.

Это была муза Маяковского: он увековечил её во «Флейте-позвоночнике».

Она восхищала всех своих современников — от Хлебникова до Параджанова.

Я, девственник, сразу же захотел совокупиться с ней.

Она посмотрела пристально и говорит:

— О-ля-ля!

И что бы вы думали: одним движением сбросила с себя комбинацию.

Я закрыл глаза, чтоб не ослепнуть от её великолепия.

5. За окном птицы что-то чирикали.

Лиля Брик подошла вплотную ко мне.

Я обомлел: она обняла меня.

Прижалась всем телом — и быстро отпрянула.

Стала мою ширинку расстёгивать.

Я не шевелился, но весь дрожал.

И вот чувствую: она припала к моему паху — и давай сосать!

Боже праведный!

За минуту она высосала целое море из моего фаллоса!

Я был совершенно обессилен, но ликовал.

Она же загадочно улыбнулась и утёрла губы детским движением.

— Вам горько? — спросил я.

— Отнюдь.

И, усмехнувшись, она повернулась ко мне спиной и показала флейту-позвоночник и лопатки, подобные крыльям, и маленькие увядшие ягодицы — восхитительные.

У меня от этого зрелища опять возникла эрекция.

А она глядела из-за плеча и скалилась.

— Ты маленький дьявол, — говорит.

И, царственно обнажённая, встала на колени и взяла в рот мой член.

И снова сосала, сосала, сосала его...

До полного умопомрачения и забвения всего окружающего.

6. Много позже я узнал, что Лиля Брик жила не на Фрунзенской набережной, а на Кутузовском проспекте в Москве.

Но это ничего не меняло, в сущности.

Она ведь могла и гостить у кого-то на Фрунзенской.

Нина Никаноровна была уверена, что старуха в окне — Лиля Юрьевна Брик, великая любовь Маяковского.

И я тоже был в этом уверен, и верю сейчас.

Это была она, Лиля Брик, — в одной из своих ипостасей, масок, личин.

Виктор Шкловский писал, что она могла быть какой угодно: «женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюблённой, умной, красивой, уродливой».

А со мной она была высасывающей.

С ней я потерял свою девственность.

ВСЛЕД ЗА АВИГДОРОМ АРИХОЙ

Свободой жить независимо от
дня и ночи и независимо от человека,
который рядом, я заручился.

Леон Богданов

1. Был такой живописец и график — Авигдор Ариха.

Он родился 28 апреля 1928 года в Буковине, а умер 29 апреля 2010 года в Париже.

В промежутке между этими датами Ариха успел побывать заключённым в нацистском концлагере, где он сделал свои первые, подростковые рисунки; в Израиле, где он учился в художественной академии Бецалель и участвовал в войне 1948 года; в Париже, где он был знаком с Джакометти, Картье-Брессоном и Беккетом; в Лондоне, Нью-Йорке и разных других городах, где он смотрел на чужие картины, размышлял о любимых художниках и занимался главным своим делом — рисовал на холстах и бумаге.

А ещё он писал об искусстве, выступал с лекциями, участвовал в документальных фильмах и даже получил за свою деятельность орден Почётного легиона.

Но орден был потом, а сначала он пробовал, блуждал, сомневался.

Ариха начинал как иллюстратор, стал абстракционистом, а кончил как живописец, пишущий с натуры.

Но самое первое, что нужно о нём сказать: Ариха принадлежал к редчайшей породе художников, которые не доверяют тому, что им талдычит эпоха, а верят исключительно своему чутью и глазу.

Конечно, только так и нужно: верить себе и тем, кого любишь.

Но сказать это легко, а достичь трудно.

Когда Ариха был студентом в Иерусалиме (в 1946–1948), там учили рисовать по Сезанну, а точнее, согласно «сезаннизму».

Ариха называл это «рационализация видимого».

Это такой академический метод, когда ты уже не воспринимаешь то, что рисуешь, а думаешь, как тебе рисовать в соответствии с методом.

Ариха считал, что, когда художник так думает, он уже не творит.

Это, конечно, так и есть, но до этого тоже нужно додуматься, и Ариха — очень умный и образованный человек — додумался не сразу.

В Израиле ему всё время казалось, что он находится в глухом захолустье, поэтому он уехал в Париж и осел там.

В Париже он сделался абстракционистом, причём писал очень хорошие абстрактные картины, но однажды ему это надоело.

Арихе вдруг показалось, что он всё время повторяет себя в своих работах.

Он так и говорит: «Почти все художники повторяют себя, но это тошнотворно. Никто не любит смотреть на себя в зеркало подолгу».

Ариха поделился своими сомнениями с Джакометти, и тот поддержал его (Джакометти тоже хотел выбраться из западни модернизма).

Модернизм, по мысли Арихи, был «коротким замыканием» в истории искусства, когда «рационализация видимого» подавила живой глаз и чувство.

Весь модернизм — от Сезанна до Мондриана — это короткое замыкание, как считал Ариха.

Джакометти и Ариха каждый по-своему хотели повернуть искусство к жизни.

По мнению Арихи, Джакометти так до конца и остался «сезаннистом».

«Если присмотреться, — говорит Ариха, — то ясно, что штриховой рисунок Джакометти лишён интенсивности жизни. Это всё ещё сезаннизм».

А ещё Ариха сделал такой вывод: «Искусство — не голова. Хотеть рисовать — то же, что хотеть петь, то есть глубочайший внутренний импульс, являющийся ответом на жизнь. Жизнь требует оживления — поэтому ты поёшь и рисуешь».

Отвернувшись от модернизма, Ариха встал лицом к лицу со старыми мастерами.

Он хорошо знал, что искусство — это прежде всего память.

Модернизм, согласно Арихе, был слишком поглощён настоящим.

Художник, стоящий на обломках модернизма, должен сам, в одиночку, искать себе ориентиры в прошлом.

Искусство Арихи страшно одиноко и являет собой нечто новое, что, возможно, не будет иметь продолжения.

Он презирал «contemporary art» как царство коллективного самообмана и конфуза, как аппарат, враждебный таланту и риску.

Пережив в своём искусстве восьмилетний кризис, Ариха в 1973 году начал писать с натуры, в цвете.

Но первичным и основным для него был и остался рисунок.

В своём понимании рисунка Ариха шёл за Пизанелло, Гольбейном, Рембрандтом, Энгром, Дега — гениями живого рисунка.

Для Арихи рисунок есть непосредственный след чувства: дрожание сердца и руки, вызванное созерцанием предмета или твари.

Ариха верил Дюреру, забывавшему про себя и про искусство, когда он рисовал траву, себя, свою мать, зайца.

Ариха считал, что рисунки, сделанные Дюрером с натуры, — одно из величайших чудес света.

Ещё Ариха любил старых китайцев XIII и XVII столетий.

И Сэмюэля Беккета, с которым он дружил многие годы.

Беккет — писатель, у которого нет ни единого лишнего слова, у которого все запятые, точки, все пробелы на месте.

Ариха стремился к тому же.

Они оба считали, что в искусстве всё должно быть оправдано — любая линия, любая фраза.

Беккет сказал: «Восстанавливать тишину — привилегия окружающих нас предметов».

Это прямо относится к искусству Арихи.

А ещё Беккет говорил: «Все мы рождаемся сумасшедшими. Немногие ими остаются».

Сумасшествие — это когда ты не стал таким, как окружающие тебя люди, художники, писатели, дельцы, менеджеры культуры, когда ты не вписался в аппараты.

Ариха выступал с лекциями, снимался в фильмах, рисовал известных людей, но в своём искусстве он остался отшельником и аскетом.

Про Ариху хорошо сказала американская искусствовед Барбара Роуз, сравнив его с художниками-реалистами (живопись Арихи часто путают с реализмом): «Реалисты пишут то, что они видят и знают. А у Ариха другое: „Неужели это то, что я вижу?“»

То есть у него философия — вопрошание мира.

Девиз Арихи: «Искусство — это эхо бытия».

Ариха пишет картину, заполняя каждый микро-участок холста в ритме дыхания, перенесённого через кисть на плоскость; это живопись чувствования, противоположность любого академического метода, когда у художника есть заданный набор приёмов (идея, стиль, мотивы).

Его живопись вернулась к минимализму глаза и чувства, линии и цвета.

Но этот минимализм содержит в себе память обо всём богатстве искусства от палеолита до Мондриана.

Старые китайцы, которыми Ариха восхищался, учили, что живопись возможна только после и по ту сторону всех знаний.

Знания Арихи были огромны, но он писал забывая о них, повинуясь сердцу и глазу.

Знания, конечно, остались, но ушли под кожу.

Живопись Арихи — это искусство не только после модернизма, но и после Auschwitz-Birkenau.

Но самое главное: Ариха — мессианский художник.

Его мессианский жест заключается в том, что он стряхивает с вещей шелуху стилей и маньеризмов — одежды, навязанные культурой, — и оставляет их нагими.

Тела и вещи оказываются застигнутыми врасплох, беззащитными, одинокими, ждущими спасения.

Ариха однажды сказал, что он художник, преодолевший абстракцию и ставший натуралистом.

Его натурализм — это то, что осталось от великого искусства Запада и Востока.

То, что нужно для нового, неведомого искусства.

2. Когда-то я был на вернисаже Арихи в парижском музее Майоля.

Это случилось поздней осенью, в холодный ветреный вечер.

Согретый мир особняка противостоял остывшему городу снаружи.

В мягко освещённых залах по скрипучему паркету ходили пожилые люди, каких не часто увидишь на улицах Парижа: интеллигенты старой пробы, ценители некрикливого искусства.

На стенах висели пастели: обнажённые модели в мастерской, в голом пространстве.

Были и натюрморты: апельсин на скатерти; ломоть хлеба; глиняные горшки на полке; упаковка со спаржей.

И ещё пейзажи: каменные руины под испепеляющим солнцем Иерусалима.

Я смотрел и дивился: почему эти простые вещи так поражают?

Воистину неисповедимы пути, ведущие к блаженству.

Отвлёкшись от живописи, я заметил моложавую старуху в кружевном платье и каменных бусах.

Это была знаменитая Дина Верни — натурщица Майоля, Матисса и Боннара, участница Сопротивления, основательница музея.

Со своим ярким смуглым лицом и руками в кольцах она походила на счастливую цыганку.

Дина Верни разговаривала с высоким человеком с рыжеватой шевелюрой.

У него было лицо клинициста или музыканта, и это был Авигдор Ариха.

На своей выставке он казался посторонним.

Но было заметно: он знает свою силу.

Я смотрел на них, а потом официант предложил мне вино, и я потерял их из виду, а потом снова увидел, когда Ариха уже прощался с Верни и уходил из этого гостеприимного музея.

Я пошёл за ним, не зная, что будет.

Меня вело смутное чувство: встреча с Арихой станет для меня судьбоносной.

3. Мы оказались на пустынной улице, в потёмках.

Ариха шёл мерно, держа голову немного вперёд, как будто что-то наблюдая.

На нём был светлый плащ; кудрявая шевелюра маячила над клетчатым шарфом.

Фонари, висящие над дорогой, отбрасывали на тротуар длинные тени.

Ещё какие-то тени пробегали по стенам домов — одна, другая, третья...

Это было как в детстве, когда я следил за тенями, скользящими по потолку, лёжа в кровати.

Я шёл и не мог придумать, что сказать Арихе.

Я хотел нагнать его и произнести самые верные слова, после которых мы сядем в кафе и побеседуем о жизненно важном.

Когда-то давно, в 1956 году, двадцатишестилетний Ариха заговорил в кафе с уже знаменитым пятидесятилетним Беккетом, и с этого началась их долгая дружба.

А у меня все слова пропали, и я дрожал мелкой дрожью.

Поднялся ветер.

Моё внимание привлекли роскошные золочёные шторы в окне старого дома.

Отвлёкшись на эти шторы, я потерял Ариху.

Он исчез, словно в воздухе растаял.

Рядом не было никаких переулков, куда он мог бы свернуть, никаких подъездов.

Взял — и испарился!

Меня охватило такое чувство, словно я утратил свой единственный шанс в жизни.

Ах, почему, почему упустил я Ариху?

Знакомство с ним могло изменить всё — но не изменило...

Я воочию вижу ту тёмную улицу, по которой шёл за живописцем, хотя названия её не помню.

Я никогда не обращал внимания на названия улиц.

Просто шёл куда глаза глядели.

А художник Ариха умел подмечать малейшие детали.

Он фокусировался на каждой зримой точке, когда писал свои натюрморты, пейзажи, портреты.

И шёл так шаг за шагом.

Результат в этом случае бывает непредсказуем.

Но таков уж эксперимент под названием искусство: никогда не ясно, что будет.

И так же с жизнью.

Шёл за Арихой — потерял Ариху.

А теперь куда?

Не знаю.

ДЕВУШКА-ГАЗЕЛЬ

Ещё живо то впечатление.

Леон Богданов

1. Я хочу написать оду в честь одной неизвестной девушки.
У неё нет имени, но она совершенно реальное лицо.
Если она жива, ей сейчас примерно шестьдесят лет.
Ну а где она живёт, я понятия не имею.
Скорее всего, она давно на седьмом небе.

2. Я встретил её в августе 1977 года (примерно).
Я был тогда студентом филологического факультета.
Из Алма-Аты я полетел на самолёте в Сочи.
Я хотел позагорать и поплавать в Чёрном море.
В Адлере самолёт приземлился.
Я сел в автобус и доехал до Хосты.
Хоста — окраинный район Сочи.
В сущности — курортный посёлок.
Я никого там не знал, никогда раньше не был.
Мне понравился вид из окна, вот я и вышел в Хосте.

3. На автобусной остановке стояли люди.
Они предлагали приезжим квартирные услуги.
Ко мне подошёл парень — приземистый, плотный.

Лицо у него было как блин, наброшенный на мячик.
Он спросил:
— Ищешь хату?
Я кивнул, и он повёл меня куда-то.

4. Спускался вечер.
Цветы на клумбах распространяли душный запах.
Было влажно.
Парень сказал:
— Хоста — самое тёплое место на земном шаре.
Я подумал, что он шутит, но вид у него был серьёзный.
— Меня зовут Игорь, — сказал он.

5. Уже в темноте мы достигли цели.
Игорь толкнул калитку.
Приземистая сакля стояла в дебрях сада.
Рядом с саклей — дощатая времянка.
— Вот твоя хата, — сказал Игорь.

Мы вошли во времянку, он включил свет — лампочка замигала.

Там стояла железная кровать; висело зеркало на двери.

Несколько ржавых гвоздей, вбитых в стену: вешалка для одежды.

Игорь назвал цену.
Я, не раздумывая, согласился.
— Хочешь водки? — предложил Игорь.
Я опять согласился.
Он вышел и вернулся с бутылкой, но без стаканов.
Запрокинув голову, он влил в себя водку.
Потом сунул мне в руку бутылку:
— Пей — вкусно.
Я выпил и подавился.
— Хе, — сказал Игорь. — Ты армян?

— Нет.

— Похож на жида или армяна.

От водки у меня в висках заныло.

А он:

— Хочешь, покажу тебе что-то?

Я подумал: «Отделаться б поскорее».

Мы вышли в темноту; там пели цикады.

Я брёл за Игорем, натыкаясь на ветки.

Он встал — я ткнулся в его спину.

Он чиркнул спичкой — вспыхнуло пламя.

Я увидел: у мокрой кирпичной стены стоит железная клетка.

А в ней — фигура.

Кто-то голый лежал на тряпке, постеленной в клетке: то ли спал, то ли затаился.

— Девушка-газель, — просвистел мне в ухо Игорь.

Да, это была дева.

Голая, с маслянистым телом и спутанными волосами.

Спичка погасла.

Игорь потащил меня обратно во времянку.

6. На следующее утро я проснулся с головной болью.

Нашарил в сумке аспирин, вышел наружу.

Сад Игоря был не сад, а джунгли.

Я постучал в дверь сакли — никто не отозвался.

Возле дома был кран, из него сочилась струйка.

Я принял две таблетки аспирина и побрёл в глубь сада.

И вот опять: мокрая кирпичная стена, клетка.

Голая девушка сидела в клетке и смотрела на меня широко раскрытыми глазами.

Перед ней на тряпке лежала горстка травы, стояла миска с водою.

— Привет, — сказал я, как идиотик.

В ответ ни звука.

У неё был массивный колтун на голове — я впервые в жизни увидел дредлоки.

А тело худое, но как бы стальное: на костях одни мускулы, обтянутые кожей.

Колено у неё было замотано грязными бинтами.

Тут она схватила горсть травы, положила в рот и зажевала.

Девушка-газель питалась травой: травой кормил её Игорь!

Желваки на её скулах ходуном ходили.

Она ела, размеренно пережёвывая травки.

Мне стало страшно.

— Послушай, — сказал я.

На миг она перестала жевать — и снова зажевала.

Вдруг появился Игорь.

7. — Привет, — сказал он (я от неожиданности вздрогнул).

— Как тут она? — спросил Игорь.

Девушка-газель уже не жевала, а только смотрела — странно, чуждо.

— Она говорить не умеет, — хмыкнул Игорь. — Зато умеет очень быстро бегать. Быстрее, чем чемпион мира. А носить одежду она не хочет. Она поранила себе колено. Я её лечу уже целый месяц. Чтоб прокормить её, я оборвал траву во всей Хосте.

Я спросил:

— Почему ты держишь её в клетке?

— Она дикая, — ответил Игорь. — Может укусить. Она больная.

Потом предложил:

— Хочешь выпить?

Я отказался.

— Тогда иди искупайся в море. Сегодня жарко.

И я правда пошёл купаться — с курортниками, с медузами, с барабулькой.

И загорал до палёной кожи.

8. Домой я вернулся на закате солнца... и там была куча народа.

Игорь устроил в саду вечеринку.

Мужики — рабочего типа.

Девицы — какие-то блатные.

Все уже успели напиться.

На мангале жарилось мясо — промаринованное, но такое жилистое, что я выплюнул всё украдкой.

Игорь стоял с бутылкой и базарил:

— Я пробовал её прикрыть, пробовал харчить нормально... Но она содрала кофту, закусь вышвырнула наружу... Она хочет драпануть, дурка... Хотел её подмыть, но она боится мыла... На всю голову больная сучка... Жрёт траву и срёт катышками... Но ей от меня не смыться... Во — глядите!

Он залез в карман, достал что-то и показал всей честной компании: металлический ключик.

Я сообразил, что это ключ от клетки, где сидела девушка-газель, его полонянка.

Тут ко мне подошла блондинка с золотым зубом:

— Еврейчик, хочешь поебаться?

Я испугался.

Она загоготала.

Потом я быстро напился.

Вечеринка была в полном разгаре, когда я поблевал в кустах и залёг во времянке.

9. Проснулся ночью от шума.

Кто-то стонал:

— О-о-о... А-а-а... О-а...

Я слушал с минуту, а потом вышел наружу.

И вдруг ослеп: прожектор стоял на земле и источал устрашающий сноп света.

Под дверью времянки сидел голый мужик, покрытый кровоточащими лишаями.

Он сжимал голову и завывал:

— О-о-о... А-а-а...

И:

— Чур меня, чур, гады...

Вдруг появился Игорь.

Его лицо уже не походило на блин — просто харя.

— Здравствуй, армян! — закричал он. — Хочешь ягод?

И ткнул в меня миской.

В ней была крупная бородавчатая малина.

Я взял горстку, бросил в рот — ягода пахла кровью.

Меня охватило чувство великой вины и беспорядка.

— Можно мне покормить девушку-газель? — спросил я, сам удивляясь вопросу.

Он уставился на меня, словно не понимая:

— Ты чего, армян? Или ты всё-таки жид? А?

Из темноты возникли его кореши.

Они хохотали.

— Жид? Али армяшка?! — раздались крики. — Или ты, блядь, Буратино?!

«Драться с ними? — подумал я. — Убьют, гады».

Я повернулся и скрылся за дверью времянки.

Сзади смеялись.

10. На рассвете я вышел.

Туман стлался по саду.

Где-то кричали чайки.

Гости Игоря дрыхли в саду как попало: бабы с голыми ляжками, мужики с раскрытыми ртами.

Дверь сакли была приоткрыта.

Я шмыгнул туда, как шельма.

Внутри пахло рвотой, вином, грязным бельём, носками.

Игорь валялся ничком на кровати, рядом блондинка с золотым зубом.

Оба храпели.

Я проник в его карман с ловкостью татя и сразу нащупал ключик.

Я пошёл через сад: ветки били меня по мордасам.

Клетка стояла у кирпичной стены, а в ней — девушка-газель, девушка-антилопа, девушка-сказка, девушка-поэма.

Она смотрела на меня пристальным незапамятным взором.

Я быстро справился с замком и открыл клетку.

Девушка вздрогнула, отпрянула в угол.

— Беги! — сказал я. — Скорее отсюда.

Она проскользнула мимо, обдав меня запахом чащи.

Её космы коснулись меня, как перст назорея.

Она убежала, исчезла, словно всё это мне приснилось.

11. Схватив свою сумку, я выскочил из времянки.

Сел в автобус и очутился в Сочи.

Пару суток я жил на пляже, ночуя на гальке.

Потом снял комнату у инвалида войны и вволю наплавался в море.

Обгорел, облез, почернел, стал похож на араба.

Ну а ты, девушка-газель, — где ты была всё это время?

В каких саваннах?

САПОГИ АЛАНА МУРА

Столкновения в Марокко
не стихают.

Леон Богданов

1. С мастером комиксов и первоклассным писателем Аланом Муром я познакомился в Tate Britain — знаменитом лондонском музее.

К тому времени я уже прочитал бесподобные графические романы Мура — «From Hell», «Watchmen», «V for Vendetta», «Promethea».

Впереди были чудесные «Lost Girls» и «The League of Extraordinary Gentlemen», а также превосходный текстовой роман Мура — «Voice of the Fire».

Благодаря Муру (и Роберту Крамбу) я открыл мир комиксов и влюбился в нескольких рисовальщиков из этого мира, показавших мне, что я — не я, а намалёванный шалопай, бузотёр и незнайка.

Настоящие комиксы учат: жить можно только выдуманной жизнью и следы этой жизни остаются не в документах и фото, а в карикатурах и побасёнках.

2. В Tate Britain Мур читал лекцию об Уильяме Блейке — лучшую из всех лекций, что я когда-либо слышал (не считая двух агамбеновских лекций).

В тот день в музее собралась нетипичная публика: панки, маргиналы, подростки, какие-то парии в лохмотьях.

Но самым диковинным был лектор — человек высоченного роста, с гривой бурых волос, падавшей на его сутулые плечи, с эпической бородой, доходившей ему до пояса.

Это и был Алан Мур — практикующий маг и поэт, музыкант и рисовальщик, почитатель Алистера Кроули и знаток порнографии, радио- и теле-развлекатель английской публики и отшельник, не выезжающий из своего родного гнезда — Нортгемптона.

Он был наряжен в чёрный камзол, расшитый золотыми лилиями, и смазные сапоги вроде тех, в которых щеголял Распутин.

Все пальцы на его руках были унизаны причудливыми кольцами.

Он смахивал на одного из экстравагантных вельмож, пиратов и поэтов, которыми славился век Елизаветы Первой; а ещё он походил на бомжа, принарядившегося в театральные обноски.

Словом, это был из ряда вон выходящий смертный, и его присутствие оживляло.

Лекцию свою он читал, стоя перед знаменитой темперой Блейка «The Ghost of a Flea» — «Призрак Блохи».

Огромный звероподобный Мур и миниатюрная картинка с запечатлённым на ней демоном — восхитительное зрелище.

В Муре тоже было что-то демоническое.

В каждом настоящем художнике демон борется с ангелом.

А вот Алан Мур хотел, чтобы демон и ангел в нём уживались — и это была не какая-то прихоть, а рискованный замысел.

3. В Tate Britain Мур говорил о Блейке как о прародителе комиксов.

Он считал Блейка не просто поэтом и художником, а скорее экспериментатором, производившим алхимические опыты над словами и образами.

Блейк, по мысли Мура, являлся самым первым «модернистом» — подпольным, непризнанным, осмеянным гением, жившим не в постылой реальности, а у истоков существования.

Блейк был радикалом — в том значении, которое вкладывал в это слово Маркс: «Быть радикальным означает добираться до корней вещей».

Блейк стремился к какому-то древнему священнословию и священнодействию, тропа к которому заросла сорняками и загажена.

Но одновременно он был плебеем в поэзии.

Мур цитировал блейковские стихи, вроде таких:

Правда, сказанная злобно,
Лжи отъявленной подобна.

Или:

Можно в скорби проследить
Счастья шёлковую нить.

Мур говорил, что Блейку удалось совместить детскую невинность с глубочайшей мудростью.

Вообще, Мур много чего говорил, но важно было и то, как — каким голосом — он говорил: шаляпинским басом, с музыкальными интонациями, заставлявшими вспомнить то Вагнера, то Стравинского, то Мортона Фельдмана, с чудесными паузами, значение которых было столь же велико, как и значение слов.

Слушатели были совершенно очарованы.

В самом конце Мур сказал, что нынешнее искусство ничтожно и отвратительно и что художникам нужно учиться жизни и творчеству у таких, как Блейк.

Тут все присутствующие зааплодировали и кинулись к Муру, чтобы заполучить его автограф.

А мы с Барбарой сначала стеснялись, а потом подошли и подарили ему наш рисунок с изображением голой девушки, сидящей в пустыне на колючем кактусе.

Рисунок назывался «Святая Мафальда страстотерпица».

Мур долго разглядывал рисунок и наконец произнёс:

— That´s wonderful!

Затем он извлёк из кармана маленькую бумажку, написал на ней что-то и сказал:

— Приезжайте ко мне в гости.

На бумажке был адрес Мура в Нортгемптоне.

Мы, разумеется, с восторгом приняли его приглашение.

4. Алан Мур родился в 1953 году в старинном английском городе Нортгемптоне (Northampton) в бедном квартале, в рабочей семье.

Там он узнал что почём и стал сперва маргинальным, а затем известным автором.

Там он писал свои книги и читал кучу чужих.

Там он экспериментировал со своей жизнью в компании двух своих возлюбленных.

Там у него родились две дочери.

Там он жил со своей нынешней подругой — художницей Мелиндой Гебби.

Именно туда мы к нему из Лондона и отправились.

Однако, будучи несусветными дураками, мы перепутали Нортгемптон с Саутгемптоном (Southampton) и вместо севера поехали на юг Англии.

Надо же родиться такими болванами!

Осознав свою ошибку на вокзале Саутгемптона, мы сперва не на шутку расстроились, а потом покатились со смеху и сели на поезд, идущий в Нортгемптон, предварительно отведав в саутгемптоновской привокзальной забегаловке любимое блюдо малоимущих британцев — фиш-энд-чипс (fish and chips).

5. В Нортгемптоне лил проливной дождь.

О такой непогоде англичане говорят: raining cats and dogs.

Мы спрятались от потопа в пабе, где выпили по пинте тёмного эля, приведшего нас в хорошее настроение.

Когда дождь успокоился, мы отправились на поиски дома великого писателя.

Он жил в двухэтажном солидном коттедже из красного кирпича, с прилегающим садиком.

На крыше дома красовались два флага: один с геральдической кошкой, разрывающей на части геральдического крокодила, а другой сам был разодран на длинные лоскуты и дико трепыхался по ветру.

Мы постучали; после длинной паузы дверь отворилась: перед нами стоял Алан Мур в малиновом камзоле и тех же смазных сапогах, в каких мы его видели в Лондоне.

— Pleased to meet you! — сказал он и тряхнул бородой.

6. Дом Мура заслуживает особого описания.

Это была пещера, полная чудесных штуковин и фокусов: на книжных полках стояли старинные кожаные фолианты, на обеденном столе валялись фальшивые бриллианты; в камине полыхало яркое пламя, над камином висело драное наполеоновское знамя; в углу виднелось чучело дикобраза, на стене висела примитивная икона

какого-то румынского богомаза; с потолка свисала люстра в виде осьминога, к стене была прибита голова единорога; на каминной полке красовался позолоченный семисвечник, а рядом с ним африканского копья наконечник; на окнах — бархатные аспидные портьеры, в застеклённом шкафу — статуэтки, причудливые бутыли и ржавые револьверы; на полу лежала львиная шкура, а на треноге стояла камера-обскура.

Хозяин усадил нас на кожаный диван и принёс бутылку пятнадцатилетнего виски The Macallan.

— Вы наверняка продрогли под дождём, — произнёс он рокочущим голосом, идущим из глубин живота. — Не хотите ли согреться?

Мы с удовольствием выпили, а он подлил ещё и продолжал:

— Я считаю, что вам следует немедленно принять горячую ванну, а то наверняка простудитесь. Я как раз приготовился к омовению и уже бросил в воду соль Мёртвого моря, которую сам там собирал. Но я уступлю вам свою очередь. Водный ритуал оживит вас. А уж потом мы обо всём побеседуем.

Мы сначала отнекивались, а потом подчинились его уговорам и отправились в ванную комнату.

Алан Мур проводил нас и оставил одних.

7. Посреди облицованного чёрной керамической плиткой помещения стояла длинная медная лохань, наполненная розоватой водой.

Мы разделись и прыгнули в горячий раствор — два дрожащих цуцика.

Каково же было наше ошеломление, когда мы обнаружили, что в ванне уже кто-то есть!

Господи боже мой!

Это была маленькая мускулистая девушка, спрятавшаяся под водой.

Как же долго могла она обходиться без воздуха!

У неё были крошечные остроконечные груди и рот до ушей — хоть лягушке пришей.

Даже не поздоровавшись, она принялась бить по воде пятками — и при этом хохотала, как безумная.

А потом схватила меня за пенис и стала дрочить с усердием Флоренс Найтингейл, знаменитой сестры милосердия.

И одновременно она умудрилась нащупать и возбудить клитор Барбары!

Мы стонали и метались в солёной воде, как две ополоумевшие рыбины.

А мускулистая девчушка приговаривала:

One for death and two for birth,
Three for wind and four for earth,
Five for fire and six for rain,
Seven´s joy and eight is pain,
Nine to go, ten back again!

Тут мы с Барбарой кончили — совершенно синхронно и безудержно.

А потом, утомлённые, но приятно взбудораженные, вылезли из ванны под весёлый крик девушки:

— Lot´s of fun for you and me!

Из этого можно было заключить, что она тоже кончила.

8. Вернувшись в захламлённую комнату, устланную львиной шкурой, мы не нашли Алана Мура, а обнаружили лишь его сапоги, стоявшие почему-то не на полу, а посреди длинного обеденного стола, словно это были и не сапоги, а какие-то драгоценные амфоры.

Мы уселись на диван и принялись ждать хозяина.

И тут произошло нечто потрясающее.

Из одного смазного сапога, возвышавшегося на столе, вылетела туча крошечных крылатых созданий — чёрных мушек с длинными прозрачными крыльями.

Со свирепым шорохом они взмыли и закружились вокруг осьминожьей люстры, наполняя воздух ужасным жужжанием.

Мы струхнули: а вдруг эти мушки накинутся на нас?

В следующий миг из другого сапога, стоявшего рядом с первым, выпорхнуло облако маленьких и чрезвычайно быстрых жёлтых бабочек.

Они взвились, закружились, замельтешили, наполнили воздух свежим фруктовым запахом — и вдруг вступили в бой с чёрными мушками.

Это было мини-светопреставление!

Мы стали свидетелями жестокого и необузданного сражения.

Две враждующие тучи схлёстывались, сталкивались, скрещивались, налетали и ударяли друг в друга, сваливались в одну гигантскую кучу и снова разлипались — для очередного столкновения.

На нас градом посыпались убитые мушки и бабочки.

И не было конца этому побоищу: из сапожной пары вылетали всё новые воинства и с новой силой сходились в баталии.

Совершенно ошарашенные, мы наблюдали за сечей, защищая свои лица ладонями.

Пол комнаты был уже густо устлан убитыми насекомыми, а резня только набирала темп.

Через десять минут мы были почти похоронены под трупами мушек и бабочек.

Нами овладела паника.

— Мистер Мур! Мистер Мур! — кричали мы, задыхаясь и карабкаясь.

Но никто не отозвался и не пришёл.

А мушки и бабочки уже заполнили всё пространство комнаты и висели над нами жужжащим, шелестящим, вздымающимся облаком.

В башке мелькнуло: «Неужели каюк?»

И мы, как два спятивших кузнечика, взвились с дивана из последних сил, заметались в туче сражающихся противников, запрыгали в поисках выхода и, нащупав входную дверь, выскочили на тёмную, мокрую, блестящую под светом фонарей улицу и побежали куда глаза глядят.

Ноги сами принесли нас на вокзал Нортгемптона.

К счастью, поезд, идущий в Лондон, как раз стоял на перроне и уже засвистел к отбытию.

Мы запрыгнули в вагон, приземлились на сиденья и уставились друг на друга в остолбенении: два очумевших олуха.

Только тогда мы и заметили, что в наших волосах покоятся сотни убитых мушек и бабочек.

Мы их с грехом пополам вытряхнули.

А маленькие облачка дерущихся насекомых кружились над нашими головами всю дорогу до самой столицы Великобритании.

9. Вот какую шутку сыграл с нами достославный Алан Мур.

Но мы всё-таки улизнули от его демонических мушек и ангельских бабочек.

А ведь чуть не окочурились!

КАМУШКИ ДРАГАНА

И вот я гляжу на лампочки и вдруг
над собой чувствую свет звезды, гораздо
более слабый, но гораздо более сильный.

Леон Богданов

1. Любляна — город маленький, игрушечный.

Я вспоминаю о нашем пребывании там с мучительным удовольствием.

Мы с Варварой прибыли в Любляну из Стамбула, где совсем обнищали и издёргались.

Художник Миран Мохар организовал нам жильё и дал пятьсот долларов, чтобы мы могли расслабиться.

Жильё было неординарное: магазинчик Kodak, закрывшийся потому, что в мире прекратилось производство плёнки Kodachrome.

Магазинчик находился в сердце старого города, в укромном дворике.

Мы поставили в пустом помещении раскладушку, стул, стол — и зажили.

Ванной комнаты не было, зато был крошечный сортир с умывальником.

2. После развала Югославии Любляна стала самым западным, а точнее, австрийским городом Балкан.

Экономика там расцветала, курва проклятая.

Кто-то продавал свой товар, кто-то его покупал, кто-то богател, кто-то разорялся в пух и прах.

Какой-то президент избирался, какой-то премьер-министр.

Полиция оберегала новый порядок, разъезжая в машинах с мигалками.

Но эти процессы проходили мимо нас.

Полицию мы видели за версту, а президент и вовсе не показывался.

Мы варили кашу на плитке, покупали на рынке яблоки.

Пристрастились к местному угощению: «burek sa sirom» (слоёный пирог с солёным творогом).

Гуляли по мощёным улочкам Любляны, смотрели на кукольные домики.

Все силы уходили на поддержание ежедневной жизни: как прожить с утра до вечера в приподнятом настроении.

В человеческом мире всё способствует унынию и утомлению.

А мы не хотели унывать — предпочитали трахаться.

3. И вот, помню, гуляли мы и забрели на невзрачную окраину.

Там стояли домишки с пыльными окнами, с засаленными занавесками.

Я всегда заглядываю в окна домов — и обнаруживаю своё отражение.

И тогда я задаюсь вопросом: «Что бы я делал, если б жил здесь? Каким бы был тут при своём характере?»

А характер у меня поверхностный: я впечатлителен, неосмотрителен, отношусь ко всему с излишней лёгкостью, а потом припоминаю совершённые глупости и сожалею до зубовного скрежета.

Но сожалей хоть сто лет: изменить ничего нельзя.

4. Проходя по разбитой улочке, я увидел в окошке унылого домика забавный натюрморт: на подоконнике лежали рядком шесть или семь камушков.

Обычные мелкие камушки — серые, чёрные, тупенькие, остренькие — ничего особенного.

Но было ясно: они обдуманно и с любовью разложены.

Я рассматривал их с минуту — и вдруг обнаружил в окне лицо.

Изнутри дома на меня смотрел худой человек с седоватой бородкой и расчёсанными на прямой ряд волосиками.

Его лицо напоминало изображения Христа на дешёвых олеографиях.

Я ему улыбнулся, а он кивнул и, протянув руку, отворил окно:

— Вам какой нравится, азьм?

Это было сказано по-словенски да ещё и с заиканием, но я всё-таки уразумел, что он предлагает мне выбрать самый красивый камушек.

Я повнимательней вгляделся и указал на один: чёрный, с едва заметными белыми крапинками.

Тогда бородатый сказал:

— Десять стотинов, азьм.

Десять стотинов — самая мелкая монетка Словении.

Это и была цена камушка.

5. Так мы познакомились с Драганом.

Сразу расскажу его историю, как она дошла до меня от Мирана Мохара.

Драган был архитектором, бросившим свою профессию.

Сначала он успешно строил и проектировал, так что ему прочили судьбу Йоже Плечника — самого прославленного словенского зодчего.

Но вдруг он всё бросил и исчез.

А потом появился на улицах Любляны в совершенно новом облике: с отросшими волосами и неухоженной бородой, да к тому же ещё босиком.

Он ходил без обуви летом и зимой, передвигаясь мелкими шажками и внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на какое-нибудь живое существо — на муравья, улитку или клопа-солдатика.

Всё живое, говорил Драган, — свято и незыблемо.

Он нигде уже не работал, а питался чем бог пошлёт: кто-нибудь дарил ему булочку, кто-нибудь — помидор.

К мясу Драган, разумеется, не притрагивался.

А затем он стал продавать свои камушки — за копейку, за так.

Он подбирал их с земли и предлагал первому встречному.

Люди спрашивали, что это за камушки, и Драган объяснял, что это погасшие солнца и ссохшиеся планеты, упавшие на Землю из космоса.

Громадные небесные тела потеряли свою мощь и скукожились — превратились в камушки.

6. В тот день, стоя перед окном Драгана, мы с Варварой купили два камушка — черный с белыми крапинками и белый с чёрной родинкой.

Ещё мы немножко поболтали с Драганом.

— Часто у вас покупают камушки? — спросили мы.

— Очень часто, — ответил он. — Азьм. Ко мне приезжают люди из разных мест: из Европы и Азии, из Южной и Северной Америки, из России, азьм, Индии, Китая, Аргентины и Австралии. Приезжают дети и взрослые, одинокие и семейные, азьм. Всем хочется иметь свою планету при себе. Азьм.

— И вы постоянно пополняете свою коллекцию?

— Да, азьм, я каждый день собираю несколько миллиардов камушков. Азьм. Вселенная бесконечна, азьм, в ней постоянно умирают планеты и целые созвездия. И все они оказываются рано или поздно у меня. Азьм. Я собираю их, нахожу для них правильное соседство и организовываю. Азьм. Это занимает каждую мою минуту, азьм.

Тут Драган пожелал нам хорошего дня и спрятался.

Мы положили камушки в карман и направились в бывший магазинчик Kodak, чтобы потрахаться.

7. На следующее утро мы встали, открыли дверь, а на пороге — камушки.

Они лежали не в ряд, как на подоконнике у Драгана, а образовывали кружок.

Мы их взяли и стали рассматривать: красивые!

Не хуже минералов или ценных камней.

Было в них что-то загадочное.

Я спросил Варвару:

— Как же он нашёл наше жильё?

Она предположила:

— Наверное, пошёл за нами вчера и проследил.

8. Дня через два мы встретили Драгана на улице.

Он шёл босиком и смотрел себе под ноги.

Мы направились к нему и поздоровались:

— Драган, агой!

Он поглядел и ничего не сказал.

А потом повернулся спиной и говорит:

— Довиденья! Я к вам сегодня приду.

9. Мы ждали до вечера, но он не пришёл.

Тогда мы легли в постель и решили трахнуться.

Я уже приготовился и начал вводить член в Варвару...

И тут:
— Тук-тук-тук!
Варвара говорит:
— Нужно открыть! Это он!
А у меня член колом стоит!
Еле напялил штаны.
У двери спросил:
— Кто там?
Ни звука в ответ.
Я дверь открыл.
Никого.
И камушков на пороге тоже нет.
Что за бред?
Я вернулся к Варваре, сел.
Член всё ещё стоял.
Я подумал: «Нужно всё-таки трахнуться».
Стал вставлять в Варвару уд.
И тут — бах! — что-то ударило меня прямо в лоб.
— Ай!
Удар был довольно чувствительный.
Я прямо-таки обалдел.

10. И в этот самый момент тихий голос говорит:
— А колько вы ещё хотитетя драхматься, азьм?
Вот на таком странном наречии были произнесены слова.
Мы, конечно, перетрусили.
Голос раздавался сверху, словно из лампочки: тихий, но отчётливый.
Я от этого голоса задрожал как осиновый лист.
Варвара шепнула:
— Не трусь...
А сама похолодела как лёд.

А потом стала горячей, как утюг.
Тут голос изрёк:
— А зачема вы всёа время хотитетя драхматься?
И через секунду:
— Азьм?
Я собрался с духом и спросил:
— Драган, ты где?
А голос в ответ:
— Аки Драган, азьм?
«Аки» по-словенски значит «какой».
Тут у меня всё перевернулось внутри.
Я подумал: «Схожу с ума!»
Но всё-таки взял себя в руки и огляделся по сторонам.
В комнате было темно — я перед траханьем выключил свет.
Только в окно светила какая-то маленькая, но пронзительная звезда.
И тут я услышал голос Варвары.
— Не пугай нас, Драган, пожалуйста, — попросила она.
— Аки Драган, азьм?! — опять раздалось сверху, и что-то стукнуло мне в висок.
В тот же момент Варвара вскрикнула:
— Уй!
Я понял, что и в неё камушек угодил.
— А зачем ты кидаешься? — спросил я.
— Чтообы выи не драхмалися, азьм! — был ответ.
Варвара тогда:
— А почему ты не хочешь, чтобы мы трахались?
После паузы последовало:
— Нии почемуя, азьм! Азьм! Азьм!
И тут на нас посыпались удары, да не одиночные, а целый камнепад: острые и тупые увесистые камушки падали сверху и пребольно били нас по всем местам.

— Ай! Ой! Уй! — кричали мы, стараясь защититься от избиения.

Атака длилась с минуту, а потом — брык! — и всё.

Голос сказал:

— Нуи неи будите есчеи драхматься, азьм?

— Не будем, не будем! — закричали мы.

— Нуи добре, азьм, — прозвучало в ответ.

И в наступившей тишине мы услышали, как поёт где-то ночная птица — чудным, небесным голосом, ибо знает: рассвет грядёт.

Мы не спали до утра: лежали на раскладушке и прижимались друг к дружке, как китайские болванчики.

А потом забылись и проспали весь день.

11. После той ночи мы уже не встречали Драгана, хотя прожили в Любляне ещё пару месяцев.

За это время мы ни разу не трахнулись, хотя частенько занимались феллацио и куннилингусом.

А потом мы уехали из Любляны в Риеку и там — в бывшей бандитской республике Габриэле Д´Аннунцио — вволю натрахались.

Что же до тех двух камушков, которые мы купили у Драгана, они до сих пор хранятся среди наших вещей.

Но, честно говоря, я боюсь на них смотреть.

Почему?

Однажды в Ницце я вытащил из моря мокрый кругляш, и он показался мне самой прекрасной вещью на свете, и я сделал его своим талисманом и спрятал в карман, но когда достал на следующий день, он оказался заурядней-шей галькой — высохшей, с налётом соли на поверхности.

Волшебная гладкость камушка, его влажное великолепие — всё ушло!

ПОРТРЕТ ДЖЕКА НИКОЛСОНА НА ЦЮРИХСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Да и исполнителя на эстраде нельзя без натяжки считать персонажем иконы, скорее скоморох с ярмарки.

Леон Богданов

1. Когда мне стукнуло пять или шесть лет, я понял, что мои родители — вовсе не родители, а чудовища-самозванцы, присвоившие себе внешность и повадки моих родителей.

Это открытие заставило меня покрыться ледяным потом и увидеть в новом свете всё окружающее.

Я осознал, что люди — совсем не то, чем они кажутся.

Поэтому нужно держать ухо востро: а вдруг я тоже могу превратиться в ужасное подобие самого себя?

Я любил своего дедушку, но однажды заметил большую мутную каплю, свисавшую из его ноздри, и меня осенило: это не может быть мой дедушка!

В другой раз я встретил свою мать на улице: она шла с каким-то мужчиной, прижимаясь к нему всем телом; она тёрлась животом и грудями о жирный бок этого незнакомца, который прикидывался моим отцом, а на самом

деле задумал продать мою подставную мать корейцам, торгующим на базаре острой капустой кимчи.

— Это не вы! Это не вы! — заорал я и бросился бежать в тот момент, когда родители меня увидели и направились в мою сторону.

Особенно часто чувство подмены возникало в минуты, когда отец и мать ссорились.

Я смотрел на их искажённые, чужеродные лица и думал: «Господи, верни мне моих настоящих родителей. Эти двое не мои папа и мама — не могут ими быть».

Точно так же и с остальными людьми: с учителями в школе, с приятелями, с возлюбленными и знакомыми художниками: все они рано или поздно оказывались фальшивками, жуткими имитациями.

С животными, растениями и вещами дело обстояло тоже так: они никогда не были тем, чем казались на первый взгляд.

2. Всякий раз, когда я препираюсь с Барбарой, у меня возникает чувство, что она — подставной супостат.

Ругаемся мы обычно по пустякам, например, из-за того, что я хочу, чтобы она кончила три раза, а она кончает только раз или два.

Тогда я начинаю допытываться:

— Почему ты не могла кончить ещё разок?

В ответ она смеётся и отшучивается, а потом, когда мои приставания надоедают ей, огрызается.

В такие минуты лицо её принимает неприятное выражение.

Я мгновенно пугаюсь и думаю: «Это же не моя Барбара. Не может она быть такой. Просто не может быть».

Иногда я говорю это вслух:

— Да ведь это не ты! Пошла вон!

В такие моменты я убеждён, что передо мной демон, прикидывающийся Барбарой, и что я тоже демон и, вероятно, всегда им был.

Я никогда не бываю собой.

3. Сейчас мне кажется, что я наконец понял, откуда у меня взялось это ощущение двойников-антиподов и самозванцев, преследующих меня везде.

Это каким-то образом связано со знаменитым американским актёром Джеком Николсоном.

Его невероятная физиономия, способная принимать любые выражения, — вот что заставило меня уверовать в наличие враждебных подобий вокруг.

Когда-то на меня произвели неизгладимое впечатление три фильма с Николсоном: «Пролетая над гнездом кукушки» Формана, «Профессия: репортёр» Антониони и «Сияние» Кубрика.

А ещё я люблю «Чертополох» Эктора Бабенко, где Джек играет бродягу-алкоголика.

В этих фильмах Николсон с блеском демонстрирует своё умение превращаться то в волка, то в агнца, то в плохого парня, то в хорошего, то в жертву, то в палача, то в урода, то в красавчика, то в героя, то в никого.

Его дар к перемене масок удивителен.

А если сорвать эти маски, обнаружится законченный доппельгангер, близнец, копия.

4. И вот: вчера я увидел Джека Николсона на променаде цюрихской набережной.

Там обычно прогуливаются обеспеченные пенсионеры, туристы, беременные матроны и лощёные гаврики.

И вдруг Джек Николсон!

Он сидел на скамейке и созерцал Цюрихское озеро.

На нём была спортивная куртка и просторные штаны, а на руках — кожаные перчатки.

Солнцезащитные очки скрывали его глаза; на губах играла рассеянная улыбка.

Прямо перед ним у кромки воды подросток кормил чаек кусками булки.

Чайки были в восторге и громко кричали.

Джек Николсон смотрел вдаль, мимо подростка и чаек.

Тут ко мне подошёл какой-то старик в кепке и говорит:

— Это ведь Джек Николсон, не так ли?

— Да, — ответил я, вежливо улыбнувшись.

Старик подмигнул мне и пошёл своей дорогой.

А я направился к Джеку Николсону и выпалил что было духу:

— Здравствуйте, Джек. Как удивительно увидеть вас здесь сегодня.

Он посмотрел на меня снизу вверх и просиял своей джекниколсоновской обворожительной улыбкой, которую я помнил по его фильмам.

И говорит:

— Здесь хорошо, а?

И похлопал рукой в перчатке по скамейке:

— Садитесь.

Я принял его приглашение и осведомился:

— А давно вы в Цюрихе?

— Уж и не помню. Кажется, целую вечность.

— И что вы здесь делаете?

— Сплю. Надеюсь проспать ещё год, а там будет видно.

Сказав это, Джек Николсон зевнул, причём не по-человечески, а как дикое животное, так что обнажилась вся его зубасто-языкастая ротовая полость.

— О-о-о... Сейчас посижу на свежем воздухе и снова пойду спать... У меня очень хорошая кровать и целых три подушки.

— А где вы спите? — спросил я.

— Да тут рядом. В отеле. Забыл его название. У меня там три комнаты, заставленные какими-то красными и белыми цветами. Они очень сильно пахнут. Возможно, из-за них я и сплю всё время. Этот цветочный запах ввергает меня в дрёму.

В подтверждение своих слов Джек опять зевнул во всю глотку.

Я не знал, что сказать, и смотрел на чаек, на озеро, на прогулочный кораблик, но ничего не видел.

— Я сплю в основном днём, а посреди ночи просыпаюсь, — говорил Джек, ухмыляясь. — И вместе со мной просыпается мой волчий аппетит, так что меня подмывает пойти в какой-нибудь ресторан и съесть здоровенную телячью отбивную или баранью котлету. Но они здесь закрывают на ночь все рестораны. Поэтому мне пришло в голову купить их хвалёного швейцарского сыра, я его ем с ветчиной и хреном. А пью только арманьяк — последнее время я к нему пристрастился. Пью его как рыба. И смотрю по телевизору их порно, оно у них неплохое. А к утру засыпаю, как младенец.

Мимо прошли две девицы в идентичных меховых шубках; они не могли оторвать глаз от Джека Николсона, сидевшего рядом со мной на скамейке.

— И долго вы пробудете в Цюрихе? — спросил я.

— I don´t know, — ответил Джек Николсон, потирая руки в перчатках.

Он помолчал и добавил:

— Я плавал в озере этой ночью.

Стоял конец декабря: сезон, когда в Цюрихском озере плавают только лебеди, утки и люди-моржи — закалённые атлеты.

Джеку Николсону было за восемьдесят и выглядел он не очень спортивно.

— Было холодно? — спросил я.

— И да, и нет, — сказал Джек и посмотрел на меня поверх тёмных очков пристальным взглядом.

— Вы плавали в специальном костюме или просто в плавках?

— Я плавал нагишом, абсолютно голый. Кстати, это был мой первый заплыв за долгое время. Уже двадцать лет я и пальцем не трогал воду. Но это озеро меня прельстило. Я переплыл его — туда и обратно.

— Вы переплыли озеро туда и обратно?!

— Да, — подтвердил Джек Николсон. — Туда и обратно. А когда я вылез на сушу, меня ждали два полицейских фургона. Думаю, там было двенадцать полицейских, и все они спорили между собой: Джек я или не Джек. Совсем как эти крикливые чайки.

Я взглянул туда, где подросток кормил чаек, но они уже улетели, а подросток смылся.

Вдруг в кустах, расположенных за скамейкой, раздался какой-то шорох и что-то громко заверещало.

Джек Николсон подпрыгнул.

— What´s that?! — вскричал он, и лицо его побледнело, а рука в перчатке задрожала.

— Наверное, воробьи... — предположил я. — У них свои воробьиные игры.

— Моё сердце остановилось от этих звуков, — сказал Джек Николсон, держась рукой за сердце. — Хотите пощупать?

Я подумал, что это большая честь — приложить ладонь к сердцу Джека Николсона.

Его сердце билось часто-часто: не как человеческое, а как кошачье или птичье напуганное сердце.

— Я думаю, мне пора спать, — сказал он напряжённо. — Но, кажется, у меня нет сил дойти до отеля.

— Я могу помочь вам, — вызвался я (мне, разумеется, хотелось посмотреть на его трёхкомнатный номер).

— Да нет, не надо, — поморщился он. — Тут всё-таки лучше. По-моему, с этой скамейки открывается лучший вид на свете. Кроме того, здесь по-настоящему свежий воздух и не пахнет этими ужасными цветами.

— Да, конечно.

В этот момент меня наконец осенило, что существо, сидящее рядом на скамейке, не может быть Джеком Николсоном.

Я опять обознался: этот старик — очередная подмена!

Я посмотрел на него, чтобы убедиться в своей догадке.

Он уже спал, и его лицо стало ни на что не похожим; голова свалилась на грудь; длинная прядь бесцветных волос упала на ухо; на темени сияла обширная плешь; дряблый подбородок складками лежал на куртке.

Он начал похрапывать; его живот уподобился надувному шару.

И вдруг я увидел мутную каплю, скатившуюся из его ноздри и оставившую влажный след на шерстяной материи куртки.

Передо мной был мой покойный дедушка!

Как же я сразу не догадался?

ПЕРЕПОЛОХ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ

Пронёсся страшный циклон над Бангладеш, погибло до сорока тысяч человек, как пятнадцать лет назад, но тогда циклон был ещё ужасней.

Леон Богданов

1. Ох, и давно это было!

Перед Политехническим музеем стояла толпа хворых, замордованных, полоумных людей, жаждущих мгновенного исцеления.

Это как в древние времена: святой наложением руки и шевелением уст спасал.

Чего-то такого и эта толпа жаждала.

Люди пришли сюда, съехались — ради пира духовного.

Они выбрались из высоток и хибар, из хрущёвок и дыр — послушать поэта, акына, любимца муз.

Они хотели не какого-то рифмача, борзописца и версификатора, а песнопевца, трибуна и мейстерзингера.

Они надеялись на встречу с Бояном, со скальдом, с аэдом, с глашатаем.

Некоторые, конечно, явились с тайным (даже для себя) умыслом: взглянуть лукавым глазком: а вдруг он оплошает, опростоволосится?

Но таких было немного, да и я был не из таких.

Основная масса собравшихся (рать многоглавая) примчалась к историческому зданию в центре Москвы, чтобы посидеть в приснопамятных стенах бок о бок со своими современниками и унести домой воспоминание о большом событии: национальный поэт, прибывший из далёкой Америки, поведает им истину-естину, обнажит свою душу до дна и поделится сокровенными мыслями.

Имя поэта было всенародное: Евтушенко Евгений Александрович.

Кто-то может сказать: всенародное и скомпрометированное.

Но люди, пришедшие в Политехнический, так не думали.

2. А для чего пришёл туда я?

Ведь не был же я поклонником его творчества, не любил же я этого мастера своего дела — раздувателя собственного имени, неустанного и непотребного словокропателя, почитавшего своей обязанностью воспевать всё, что подсовывалось ему под нос гэбэшниками, гаишниками, капитанами промышленности, замполитами, парторгами и журналистами.

Про таких, как Евтушенко, другой русский писатель (совсем другой!) сказал: «Люди искренно непорядочны».

Евтушенко был искренне непорядочен, как блатной.

Ну а я, Сашка-дезертир, пришёл на вечер Евтушенко по причине собственной искренней непорядочности: хотел потешиться над поэтическим евнухом Евтухом.

3. Я купил билет по завышенной цене — не в кассе, а у человека с рук.

Возбуждённая толпа внесла меня в громадную аудиторию Политехнического.

Там плескалось людское море — непомерное, взбаламученное.

Этому народу на человечью стачку бы уйти — на human strike.

Человечья стачка — это когда ты перестаёшь потреблять и функционировать, торговать и сотрудничать, врубать и корячиться, числиться и вносить свой вклад, участвовать и входить в состав, иметь пай и прикладываться, быть членом и фигурировать, мастачить и землю носом рыть.

В момент человечьей стачки движуха государства и его аппаратов приостанавливается и приоткрывается раздолье, ширь.

Но люди в этом зале не хотели шири, а хотели внимать проныре: аппараты работали, и человечья стачка оставалась заоблачной потенциальностью.

4. Я отыскал свободное место в отдалённом ряду и сел между какими-то пожилыми, полуживыми, нервнобольными субъектами.

В воздухе витал аромат парфюмерии, скверны, духовного чада, заразы, перегара, телесного застоя, полового разрушения, псины, ладана и одурения.

Люди ждали появления своего корифея в упоении, в лихорадке, в беспамятстве, в неприличном возбуждении.

Я смотрел и пугался, как кот среди ломовых лошадей.

И вот раздались рукоплескания, будто сонм серафимов захлопал тяжёлыми, буйными, напряжёнными крыльями при виде Вседержителя.

Все взоры обратились на сцену, где внезапно, как чёрт из табакерки, появился главный фигурант сборища: торгующий мордой резонёр, слёзовыжиматель, щелкопёр, литератор-халтурщик, авторитет в законе, звезда эстрады, пиит-конъюнктурщик, ловчила и штукарь.

Евтушенко?

Да, он!

Поэт был наряжен в жёлтую шёлковую распашонку в африканском стиле и штаны с лампасами.

И, кстати, он был не один, а вёл за собой какую-то старушенцию, вполне ещё дееспособную и оживлённую.

Евтушенко усадил её в кресло, а сам схватил микрофон.

Представление началось.

Стихотворец объявил публике, что старушенция — его мать, мама, мамочка, являющаяся инкарнацией русского народа и его многотрудной многовековой истории.

5. Потом он читал свои произведения — ещё и ещё, а в перерывах обращался с растроганными словами к своей матери.

Это было громогласное и омерзительное самовоспевание; не лютый мальчишеский онанизм, а церемониальный блуд закоренелого себялюбца-ёбаря.

Он уважал в себе потаскуна, был знатоком этого дела, истинным радетелем.

Он выебал несколько поколений своих читателей, хотя по существу был поэтическим кастратом, болтунцом, евнухом.

Его творчество навсегда осталось в пренатальной стадии: оно им самим перманентно абортировалось.

Он не произвёл на свет ничего, кроме газетной информации и мелкотравчатой публицистики, украшенной маньеризмами.

Возможно, поэтому он и нуждался в присутствии матери, в её постоянном поминовении: он всё ещё надеялся, что она запоздало родит его как поэта — и тайно об этом молил.

Я понимал его утробное желание, но оно было мне отвратительно.

Это слишком походило на телевизионный разврат или на чествование лагерного начальника.

Мне становилось всё труднее на его банкете присутствовать.

Я сидел с закрытыми глазами и постепенно погружался в прострацию.

А Евтушенко тем временем опять — в сотый раз — славословил свою матушку.

6. И тут что-то случилось — какая-то струна во мне лопнула.

Я вскочил со своего места и завопил:

— МОЯ МАМА ХОЧЕТ СПАТЬ!

И через короткий интервал опять:

— МОЯ МАМА ХОЧЕТ СПАТЬ!

Ну и ещё разок:

— МОЯ МАМА ХОЧЕТ СПАТЬ!

В сказке ведь всё три раза делается.

7. Но на самом деле это не я вскочил и закричал, а кто-то вскочил и закричал во мне!

Кто-то или что-то — трудно точно сказать.

Если это был кто-то, то не конкретный герой с именем, а скорее некая трансфигурация: незапамятное существо, прошедшее через ряд воплощений в мировой

истории и требующее незамедлительного оживления здесь и сейчас.

По идее это существо живёт в каждом из нас, только в большинстве людей его голос заглушён другими голосами до неразличимости.

Но существо всё равно есть — где-то в сердцевине человека, в сердце тоскующем.

Имя этого существа возникает иногда в молитве, а иногда в иконном предстоянии.

А бывает и так, что это существо проявляется в ежедневности, когда ежедневность сдвигается.

На месте ежедневности открывается безмятежность, безгрешность, нежность, любовь.

Можно и иначе сказать: это не существо закричало во мне, а слабая мессианская сила — та самая, о которой писал Вальтер Беньямин.

Сия сила требует упразднения всех законов ради беспричинной радости.

8. Разумеется, мой крик вызвал переполох в аудитории Политехнического.

Переполох был, так сказать, двухступенчатый.

На первой ступени прервалось евтушенковское словоблудие: он замолчал, будто кто-то всунул ему в рот цельный ананас.

На второй ступени регрессивный евтушенковский гипноз, удерживавший толпу в состоянии тупого оцепенения, внезапно рассеялся.

В результате возникло освободительное замешательство — безмолвное и бездвижное ошеломление.

Тихая паника.

Все глаза в гигантском помещении обратились в мою сторону.

Я предстал перед собранием в качестве то ли сумасшедшего, то ли паяца, то ли бесноватого, то ли блаженного, то ли кликушествующего, то ли пророчествующего.

Я был так же непознаваем, как и неуправляем в тот миг.

Стены Политехнического музея рухнули, и грозное небо Кедронской долины замигало бесчисленными звёздами.

Подчиняясь слабой мессианской силе, овладевшей моими членами, я вскочил на деревянный бордюр (эти бордюры располагались перед сиденьями в каждом ряду) и поскакал с одного ряда на другой по направлению к сцене.

Короткий период этой скачки был моим мессианским моментом, то есть временем чрезвычайного положения и суммарного (о)суждения, выраженного в вопле «Моя мама хочет спать!».

В этом вопле разрушение (евтушенковского наваждения) слилось с избавлением (от ложно-поэтического морока).

Мне стало легко и спокойно — как у Христа за пазухой.

Возможно, нечто подобное испытали и другие присутствующие.

Случилось то, о чём Бунин говорил в своих библейских стихах:

ДОЛИНА ИОСАФАТА

Отрада смерти страждущим дана.
Вы побелели, странники, от пыли,
Среди врагов, в чужих краях вы были.
Но вот вам отдых, мир и тишина.

Гора полдневным солнцем сожжена,
Русло Кедрона ветры иссушили.

Но в прах отцов вы посохи сложили,
Вас обрела родимая страна.

В ней спят цари, пророки и левиты.
В блаженные обители ея
Всех, что в чужбине не были убиты,
Сбирает милосердный Судия.

По жёстким склонам каменные плиты
Стоят раскрытой Книгой Бытия.

9. Конечно, мой профанный мессианский момент был краток.

Я успел пробежать всего несколько рядов, и вот чьи-то руки крепко схватили меня, грубо потянули вниз, повалили, заарканили.

Из каких-то углов выскочили охранники и заломили мои мослы, стали их выворачивать.

Ещё какой-то ретивый раб сильно надавил на кадык.

Бездыханный, я услышал далёкий евтушенковский крик:

— Не нужно его бить! Просто выведите!

Псы и овцы вняли своему пастуху и с лаем и блеянием повели меня к выходу.

Я был вне себя от переполнявшей меня разрушительной радости.

Да и как было не радоваться?

Я прервал победительную тягомотину ужасной знаменитости беззаконной поэтической выходкой.

10. Этот крик — МОЯ МАМА ХОЧЕТ СПАТЬ! — как он пришёл мне в голову?

Улыбаюсь, вспоминая его.

Это ведь и правда мессианский клич, зов, требование.

Беньямин знал: «Судный День не отличается от других дней».

Каждый день всё, что содеяно, взывает к Последнему Судилищу.

Однако этот суд не наказует, а дарит избавление.

Как сказал Торо, искатель мудрости: «Большую часть того, что мои сограждане называют хорошим, я считаю плохим. И если я о чём-то жалею, то прежде всего о своём хорошем поведении».

Вся моя прошлая жизнь состоит из хорошего поведения, когда не нужно было себя так вести, и из плохого, когда не стоило.

То есть всё моё существование — сплошное искажение блаженства и праведности.

Ну и как же мне с этим быть?

А вот так: мессия приходит, когда его не ждёшь, и исправляет эти погрешности.

В ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ, ПОД СОЛНЦЕМ САТАНЫ

Всё полно этим, и медленно и без сомнения это доходит до моего сознания.

Леон Богданов

1. С датами я не в ладах.

Кажется, это был 1991 год?

Или 1992-й?

В то время я уже освоил искусство разбрасывать камни, а вот как их собирать, не представлял.

Я жил тогда на улицах Тель-Авива, куда был выброшен из редакции русскоязычной газетёнки.

Я проработал там около года, сочиняя статейки о том о сём.

А потом подрался с хозяином и стал никем.

Впрочем, я никогда не был ни журналистом, ни художником, ни евреем, ни русским, ни мужчиной, ни женщиной.

Александром Бренером я тоже был не больше, чем Фенимором Купером.

Скорее уж так: я был живым существом, до сих пор не научившимся пользоваться ни своими членами, ни миром вокруг себя, а потому едва ли способным к какому-либо опыту, кроме опыта провалов и неудач.

У меня был товарищ, с которым я ел, пил и гулял по тель-авивским улицам.

Внешне он походил на большого одышливого младенца, беспрестанно курящего сигареты Kent.

Звали его Рома Баембаев (он говорил, что на самом деле его фамилия Боренбойм, но по недоразумению его отец — уроженец Черновиц — был прописан казахским именем Баембаев в советской армии).

В недавнем прошлом Рома зарабатывал на жизнь технической профессией, но бросил это дело, повстречавшись со мной (шалопайство заразительно).

Впрочем, у него оставались кое-какие сбережения (в отличие от меня).

Рома приехал в Израиль, когда ему было пятнадцать лет, и безукоризненно говорил на иврите (опять-таки в отличие от меня, выучившего всего пятьдесят слов).

Когда я встретил Баембаева, он уже по горло наелся своим житьём-бытьём: службой в офисе и службой в армии (он побывал на ливанской войне, о которой рассказывал с отвращением).

Бесцельные шатания по Тель-Авиву пришлись Роме очень даже по нутру.

Вот мы и гуляли: мягкий пузатый Баембаев в теннискe Lacoste и тощий, сутулый я в шортах и резиновых тапочках: флип-флоп, флип-флоп, флип-флоп...

2. Устав болтаться, мы приземлялись в каком-нибудь кафе, заказывали пиво и хумус и принимались строчить вирши или маленькие истории.

Это были совершенно беспомощные и безмозглые опусы, вышедшие из-под пера двух балбесов, находившихся в процессе трансмутации.

Но кое-что в наших писаниях проглядывало: стихийное понимание, что никакая «нормальная» литература

уже невозможна, что после Лотреамона и Хармса писать можно только как нашкодившие Чук и Гек.

Как сказал поэт: «Мы все сюсюкаем и пляшем и крылышками машем, машем...»

Недолго думая, мы с Ромой вознамерились напечатать наши творения в типографии и распространить среди русскоязычной публики.

Так мы издали нашу первую книжку «Бонанза», заключавшую в себе отстойные прозаические фрагменты и великолепные голые фотографии Ли Фридлендера.

Тираж был крошечный (100 экземпляров), зато обложка твёрдая.

Когда Рома оплачивал книжку наличными, хозяин типографии и его работники сгрудились в офисе и глазели на нас, как на поросят, усвоивших навыки прямохождения.

Вторая книжка — «Тайная жизнь буто» — представляла собой собрание бредовых и оскорбительных стихотворений, адресованных культурным деятелям русского Израиля.

Мы разослали её всем, кто в ней упоминался, и в результате Ирина Врубель-Голубкина, жена художника Гробмана, угрожала нам судебным разбирательством.

Мы обрадовались и раскатали губу на новые книжки-недоразумения, книжки-оплеухи, книжки-чучела, книжки-фальшивки, книжки-фиговины.

Но тут деньги у Ромы кончились.

Теперь мы шатались по городу без всяких планов и намерений.

3. Тель-Авив в то время представлял собой град обречённый и обшарпанный.

Как сказал поэт: «покатый дом и гуд протяжных улиц».

Это был город-окраина, город-свалка, город-пустыня, город-харчевня, город-шурум-бурум, город-кладбище, город-помешательство.

Там постоянно происходили разные безобразия.

Однажды мы шли по улице Шенкин, и вдруг из открытого окна понеслись такие вопли сладострастия, словно это был не Тель-Авив, а Содом.

Переулки кишели облезлыми кошками, которые сигали из помоек, как бесы из Тартара.

Каждый фонарь на набережной, каждая скамейка на бульваре Ротшильда, каждый апельсин на базаре, каждое дерево в парке било током так, что я обугливался.

Надеясь прийти в себя, я залезал в Средиземное море и плавал, плавал, как ставрида или макрель, но хлябь не спасала: вылезешь на берег — и ты соляной столб.

Я мечтал уплыть на надувном матраце в Грецию, но Баембаев отговорил.

Художник Авигдор Ариха, живший в Париже, но часто бывавший в Израиле, однажды сказал: «Каждый камень в этой стране говорит со мной».

Тель-авивские камни тоже со мной говорили, но лишь одно: «Спасайся! Беги!»

Я заходил в какую-нибудь галерею посмотреть живопись, но видел лишь барахло.

Я хотел сочинять стихи, но у меня выходила муть.

После многочасовой поездки по пустыне Негев израильский писатель Самех Изхар писал: «Цветок в пустыне подобен немому, который вдруг заговорил».

Для меня таким цветком был чёрный промасленный бомж, имевший привычку сидеть на автобусных остановках в центре города: он казался ветхозаветным пророком, потерявшим дар речи, но вещавшим всем своим видом: «Это поприще навеки потеряно».

4. В одной из своих поп-лекций Славой Жижек заметил, что, ступив ногой на землю Израиля, он сразу почув-

ствовал: «Здесь государство подобно новорожденному, который орёт благим матом во всю свою громадную пасть».

Этот ужас я ощущал в Тель-Авиве ежедневно — и цепенел.

И вдруг посреди ужаса меня осенило вдохновение.

Как сказал поэт: «Да, я поэт трагической забавы, а всё же жизнь смертельно хороша».

Я сел и в один приём написал феноменальное сочинение.

Это было не литературное произведение, а нечто куда более восхитительное, правдивое, смехотворное и блаженное.

Это было приветствие миру, приглашение ко всеобщему шаббату, моё апостольское Послание Евреям, Ефесянам, Римлянам, Коринфянам, Галатам, Фессалоникийцам, Американцам, Русским, Китайцам, Баскам, Японцам, Французам, Сирийцам, Немцам, Ненцам, Индейцам, Палестинцам, Голландцам, Украинцам, Нигерийцам, Австралийцам и всем остальным народам и индивидуумам, населявшим эту планету.

Да, это было что-то вроде Посланий апостола Павла, хотя я в то время его Посланий ещё не читал.

Разумеется, моя писулька не шла ни в какое сравнение с письмами Павла по уровню мозговой и сердечной интенсивности, ведь я был болваном и плутом, а Павел — одним из величайших прозорливцев и догадчиков.

И всё-таки моё обращение к народам было по духу павловским.

На одной страничке, лихорадочно заполненной в минуту отчаяния, я возвещал человечеству спасение.

Ох! — к сожалению, я не могу воспроизвести это послание в точности, у меня нет текста под рукой, я никогда не хранил ничего из написанного.

Но я могу передать содержание.

Итак, там говорилось, что мы — я и мой приятель Рома Баембаев — берём на себя ответственность за всё-всё-всё, совершённое человечеством за всю его многовековую историю: за эпос о Гильгамеше и за Песнь Песней, за «Симплициссимуса» и за «Братьев Карамазовых», за атомную бомбу и за сталинский террор, за Джоконду и за помпейские фрески, за изобретение колеса и за печатный станок, за квантовую физику и за гильотину, за Ватерлоо и за разрушение иерусалимского храма, за верлибр, онегинскую строфу и терцину, за чуму и пенициллин, за электрический стул и убийство Ганди, за все войны, преступления и злодеяния, за все изобретения и открытия, за все философские концепты и политические доктрины, за все законы и беззакония, за все случайные членовредительства и за государственный разбой, за все костры инквизиции и все гнусности полиции, за все линчевания и бичевания, за все глупости, подлости и душевные травмы, нанесённые где-либо и когда-либо на этой грешной и несчастной Земле...

Словом, мы с Ромой взваливали на себя бремя всех человеческих деяний за все века — ни более, ни менее.

А все остальные люди отпускались на волю и могли теперь радоваться, как дети и птицы небесные.

5. Вот такое это было послание.

Мы напечатали его тиражом двести или триста штук и раздавали эту книжку с одной-единственной страничкой знакомым и прохожим на улице.

Позднее несколько экземпляров попало в Москву.

Помню, куратор Виктор Мизиано сказал, что эта книжка похожа на соц-арт.

Скорее всего, он имел в виду художественный дуэт Комара и Меламида.

Они однажды взяли на себя ответственность за землетрясение в Иране.

Но мы с Ромой про это не знали, и нам на Комара и Меламида было глубоко наплевать.

Я их вообще терпеть не могу, этих двух.

Соц-арт — мизерное глумливое эстетическое явление.

Наше с Ромой послание являлось чем-то совсем другим: попыткой вырваться из тенет мира сего.

Мы не иронизировали, не хихикали.

Мы в наше послание каким-то образом верили.

Нам действительно хотелось освободить мир.

Это послание было неумышленно мессианским, как и наши оскорбления в адрес культурной публики.

Разница между мессианским и не-мессианским очень тонка — не толще кошачьего усика.

Как сказал поэт: «Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?»

БЕЗ КВАРТИРЫ

Бедные люди используют осеннее
потепление, последнее солнце.

Леон Богданов

1. Спасение проявляется в жизни человека наподобие мудрости: случайно и непреднамеренно.

Ты делаешь что-то несусветное, противоречащее всем законам разума, противоположное самому принципу выживания, делаешь это, подчиняясь какому-то смутному, шалому импульсу, — а потом, много позже, оказывается, что это самое лучшее из того, что ты пережил.

И тогда, несмотря на всю загнанность и беспомощность, несмотря на весь испуг и оторопь, на тебя нисходит блаженное умиротворение, ибо ты наконец понимаешь, что то, что другие называют глупостью и оплошностью, на самом деле является сокровенной истиной.

2. Когда-то в отрочестве я жил в уютном и симпатичном гнезде — в квартире моих родителей.

Уже тогда, невзирая на своё легкомыслие, я уразумел, что квартирный вопрос, столь гениально решённый в романе Булгакова, — один из самых тягостных и порабощающих.

Люди из-за сносного жилья готовы снести друг другу головы и без помощи дьявола.

Мои друзья — асоциальные художники — жили в Алма-Ате в трущобах и волчьих углах.

Некоторые из них моему уюту завидовали.

Я стеснялся родительского благополучия и мечтал о самостоятельности.

Наконец, я женился и переехал с женой в отдельное жильё (опять-таки с помощью родителей).

И почти сразу же наклюнулся вариант квартирного обмена: Алма-Ата — Ленинград!

Я немедленно ухватился за эту возможность и перебрался на Петроградскую сторону, в коммуналку обшарпанную.

Но и там всё обстояло наилучшим образом: моей единственной соседкой была старушка-блокадница, тихая и аккуратная.

Я мог целыми днями валяться на диване или принимать гостей, а старушка неслышно смотрела телевизор в своей комнате.

А потом эта добрая бабушка заболела и скончалась на руках моей жены.

Мы неожиданно стали хозяевами отдельной квартиры в Питере.

О таком мечтали многие, а получали лишь кручёные и везучие.

3. Я привёз из Алма-Аты в Ленинград гору книг.

Это была небольшая, но ценная библиотека, собранная моим отцом: альбомы по искусству, тома классиков, превосходные издания Academia — «Дон Кихот», «Путешествия Гулливера», «Тысяча и одна ночь», «Жизнь Ласарильо с Тормеса»...

Жить бы да поживать с этими книжками...

Однако что-то мешало, тревожило.

Я изнывал, бродя по дальним линиям Васильевского острова.

Какие-то неясные стремления будоражили, выбивали почву из-под ног.

Сердце подсказывало: если будешь в этой избушке на курьих ножках кайфовать, пиздец придёт.

И костью в горле встала квартира на Петроградской стороне.

Я вдруг сказал жене: «Собираем манатки. Едем в землю обетованную».

4. Это, разумеется, было чистейшим идиотством и недомыслием.

Но, с другой стороны, это оказалось спасением.

Отказ от имущества — освобождение.

Чужбина открыла мне врата опыта.

Я постиг главную силу справедливости — разрушение.

С внезапным облегчением — и одновременно с отчаянием — раздавал я свои книжные сокровища.

Неизвестные спекулянты и мошенники явились в квартиру на Петроградской и теребили, мяли, мусолили драгоценные тома Academia.

В припадке великодушия я отдал какому-то барышнику собрание сочинений моего любимого Стивенсона.

С болью душевной расстался с Достоевским и Пушкиным.

Вместе с книжным шкафом я отделался от томов Толстого и Бунина.

Какой-то проходимец получил чудесный подарок в футляре — монографию о русской иконописи В. Н. Лазарева.

Ещё один пришелец за бесценок обзавёлся проигрывателем и пластинками.

Кто-то польстился на книги по литературоведению.

Моя жена была потрясена происходящим, но тоже отдалась порыву безудержной щедрости.

Она потчевала чужаков квасом и яблоками — в то время как они растаскивали всё до последней ниточки.

Под занавес мы оказались в пустой квартире с голыми стенами.

Через неделю квартира была продана за пятьсот долларов какой-то наглой, рукастой, сиськастой женщине.

Я почувствовал, что жизнь моя наконец поставлена с ног на голову.

Зимней метельной ночью мы сели в самолёт и полетели на Ближний Восток, где нас ждала нищета и непредсказуемость.

5. С тех пор я не жил в собственной квартире никогда.

И просто в «нормальной» квартире тоже не жил.

Какие-то халупы, меблированные комнаты, гадюшники, старушечьи каморки, тюремные камеры, офисные помещения, сквоты, кратковременные крыши над головой, палатки, чердаки, антресоли, студенческие общежития, девичьи спаленки, кошачьи домики — вот что мне приходилось обживать.

Увы, человек не может существовать на Земле как зверь.

Человеку нужен очаг и сортир.

Но ему следует хранить память о зверином житье.

Я бы хотел бытийствовать, как ёж или енот.

Я бы хотел строить гнездо, как ласточка: из грязи и своих слюней.

Глядя на зверей, я сожалею, что я не один из них.

Только, разумеется, не хочу быть чьей-то собакой, курицей в инкубаторе или поросёнком в индустриальном хлеву.

Хочу быть ящерицей, ускользающей в расщелину скалы.

Люди, пощадите последних зверей!

Вы убили почти всех, превратили в жратву и товар.

Вы не знаете ничего, кроме: кушать, хотеть, убивать...

А я хочу справедливости — вот чего я хочу.

Я взыскую бедности.

Я читал книгу Джорджо Агамбена о францисканских монахах и их высочайшей бедности, и я не просто её читал, а тосковал и сам себя спрашивал: не к этому ли я бессознательно всю жизнь тяготел?

Однако не постиг их искусство святой жизни, ибо ничтожен и слаб!

Все людишки вокруг меня только и думали как бы квартирку или домишко прикупить.

А я, урод, глядел на них, забывал о зверях и философах, проникался дурью человеческой и хныкал, как бзда: «Почему у меня только две пары брюк?»

А нужно было радоваться, мудак!

И не две пары иметь, а одну!

Нужно радоваться, что ничего нет!

6. Мессианский мыслитель Вальтер Беньямин считал, что справедливость не имеет ничего общего со справедливым распределением благ.

Справедливость не имеет ничего общего с правосудием и доброй волей людей.

Беньямин писал, что справедливость есть не что иное, как исконное состояние мира, а мир по сути беден и наг.

Мир — это чайка, крот, червяк, стрекоза, муравей.

Жить как мир, а не как государство или Рокфеллер — вот мечта.

Бедность является подлинным условием существования на Земле.

7. В годы после отъезда из СССР я падал духом из-за отсутствия денег, жилья...

Мне — неумёхе и байбаку — было плохо без чистой постели и горячей воды.

Но с ними мне делалось не по себе.

Доходило до того, что я оставлял новокупленные башмаки на тротуаре: вдруг понимал, что они мне не нужны.

Втайне я хотел ничего не иметь.

Так ведь я и не имею ничего!

Я — осёл, что жуёт солому, не купив её.

Я — кузнечик, пожирающий лист, не владея им.

У меня есть кожаная куртка, кепка, рубашка, трусы.

Я гляжу на эти трусы и понимаю, что я трус.

Я хочу быть мёртвым, чтобы у меня не было ничего.

Я хочу быть мёртвым, чтобы меня не было нигде.

Но я до сих пор не решился уйти.

Вместо этого я опять пишу слова.

А ведь я начинаю дрожать, когда слышу людскую речь.

Я не люблю ни читать, ни писать, ни говорить.

Мой живот вспучивается от речи, и я пукаю, как бобёр.

Моё тело никогда не принадлежало мне.

Вокруг одни только камни и скалы, надгробия и алтари...

Но кое-где ещё прорастает трава...

Господи, где же я упаду?

ЧЕГО ХОТЕЛ ОТ МЕНЯ ТАРКОВСКИЙ?

Нервы и сдают.

Леон Богданов

1. Андрея Тарковского похоронили.
Давно это было, не так ли?
Но они опять и опять его хоронят.
Потому что так принято, верно?
Даже Иисуса Христа похоронили.
А куда дели Мандельштама?
Всем ясно, что хоронят не только мёртвых.
Деток, например, тоже: в школе.
Психов — в психушке.
Зверей — в зоопарке.
Кошек — в затхлой квартире.

Таково привычное человечье дельце: заграбастать всё, что живо, запихнуть в гроб и закопать в публичном или личном местечке, а затем пустить слезу, покушать и опять взяться за лопату.

Как это у Пастернака:

В лесу казённой землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо моё умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Таков двойной ритуал: предание земле-матке, а заодно и вырывание (из) сердца.

Ставится цель: водрузить крест на могиле и попутно поставить крест на человеке.

Именно так с Тарковским и поступили.

Его закопали не на каком-то погосте, а под грудой диссертаций, журнальных статеек, слюнявых причитаний, мелких издевательств, официальных воздаяний, убийственных восхвалений и академических разборок.

А потом похоронные собаки сели на сено — и рычат, ворчат, скалят зубы.

Не дают бедным ослам полакомиться соломой.

Литургия, малахольная литургия и похабные поминки — вот и вся недолга.

Плюс бездарная констатация, что Тарковский, конечно, не Кончаловский, что он, разумеется, выше, что он наше святое, что он настоящая нешуточная русская культура, что он принадлежит Пантеону, Голгофе, Эскориалу, пирамиде Хеопса.

Как говорили концептуалисты: нетленка.

Эту самую нетленку проводили в последний путь, закопали, а потом перезахоронили сто тысяч раз в разных свежевыкопанных могилках.

И думают: так и надо.

А я вам говорю: не надо, не надо!

Я вам ору: это не дело!

Да почему же?

А потому, что Тарковский не этого хочет.

Не этого ему от нас надо.

2. Он, конечно, сам был литургичным.

Его искусство попахивает церковной службой.

За кадром он проповедовал не стесняясь.

Но его литургия была иной литургией.

Сегодняшняя литургия — прибыльный бизнес.

Нынешняя литургия — профессорская, поповская, торгашеская, приносящая дивиденды.

Литургия экспертов, спецов, телевизионных рож, писак, консультантов, умников, штукарей, пролаз и выжиг.

А его литургия была бегством от движухи, от советских хамов, от сытого брюха, от тошнотворных сделок, от вездесущих фарисеев, от западной барахолки.

Он мистерию искал в этой нищей жизни.

Он хотел быть аристократом духа.

Он творил кино как молитву.

Он желал уподобиться Андрею Рублёву — иконописцу.

Вот в какую он впал Ересь.

Вот какая у него была амбиция, претензия, мечта, фантазия, надежда.

Он хотел показать нам, дуракам, как делать жертвоприношение сегодня.

Он хотел научить нас сходить с ума — как Дон Кихот, как князь Мышкин, как Сталкер.

Сходить с ума от совести, от духовной жажды, от неспособности жить как суки.

Об этом все его фильмы.

В них унылая литургия очищается наивностью, стойкостью и грёзой.

В его фильмах — откровение непокорного детства.

Там шелестят травы, вода течёт, облака проплывают, а петуха режут богатые стервы.

Откровение — вот на что замахнулся этот художник.

3. Так что я точно знаю, чего от меня хотел Андрей Тарковский.

Чтобы я жил как Сталкер.

Вот чего он требовал: уйди, дурак, в Зону и узнай, кто ты на самом деле!

Вот что он просил: сожги свой дом ради собственного исцеления.

Вот чему он учил: спасению через совесть.

Но я всегда был негодным учеником — и таким остался.

КАК УМЕР НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЛАГИАР

Я сегодня подумал, что диалог мог бы состоять и из совершенно несравнимых по объёму частей, например: один говорит одно слово, другой ему в ответ две тысячи слов.

Леон Богданов

1. С Николаем Васильевичем Плагиаром я познакомился в Париже примерно в 1996 году.

Случилось это при следующих обстоятельствах.

Я собирался зайти в один из книжных магазинов на Левом берегу: хотел полистать альбом фотографий Роберта Франка, который лежал в витрине.

И тут какой-то человек ростом с десятилетнего ребёнка преградил мне путь.

Он смахивал на бродягу и так же пах, а тёмное лицо его лоснилось от застарелого жира.

Лет ему было под семьдесят; одет неряшливо и замызганно, а на ухе — синий баскский берет.

Глядя мне в глаза, он по-русски сказал:

— Покажите пропуск.

— Какой пропуск? — насупился я (не люблю, когда меня просят предъявить документы).

— Пропуск в книжный магазин.

— Для входа туда нужен пропуск?

— Вам нужен, — буркнул он и нагло усмехнулся нечистым ртом.

Я понял, что это шутка, и тоже осклабился.

Через пять минут мы зашли в маленький кинотеатр, где показывали старые фильмы, и сели за столик в уютном кафе-фойе.

— Закажите мне анисовую, — бесцеремонно бросил мой спутник.

Денег у меня было в обрез, но я сразу подчинился и взял ему и себе Ricard.

— Зови меня Николаем Васильевичем, — милостиво улыбнулся мой новый друг, переходя на «ты». — А фамилия у меня французская: Плагиар. Это красивая и осмысленная фамилия. Да?

Я не знал, что ответить, и только лыбился.

Он налил себе анисовую, разбавил её водой из графинчика: жидкость в стакане стала мутно-белой, как кумыс.

Выпив всё залпом, Николай Васильевич выдохнул:

— Итальянцы едят на завтрак сладкое. Это правильно: жизнь людская горька...Ты любишь итальянцев, мой юный друг?

Я промямлил, что итальянская еда — моя любимая, потому что детская.

А он:

— Итальянцы имеют склонность восхищаться только итальянскими художниками, а меня это злит. Михаил Кузмин говаривал, что в Италии искусство пускает ростки из каждого булыжника. А Габриеле д'Аннунцио выдвинул лозунг: «Ни дня без совокупления!» Думаешь, два эти соображения как-то связаны?

У меня опять не нашлось что ответить, но Николай Васильевич, сидевший на стуле косо, как берет на его голове, уже перескочил на другой предмет:

— Однажды в ботаническом саду Цюриха я вырвал из грядки капустную голову. Хотел извлечь из неё кочерыжку и полакомиться. Тут ко мне подбежал какой-то гражданин и стал ругать. Он кричал, что я оторвал голову их президенту. Или я просто не понял его швейцарский язык?

Я рассмеялся, а он вдруг:

— Может, ты сегодня переночуешь у меня? Если, разумеется, купишь пару бутылок красного...

Мне не хотелось возвращаться в квартиру, где я провёл предыдущую ночь, и я обрадовался:

— Спасибо, Николай Васильевич.

2. Мы отправились к бульвару Ришар-Ленуар, где у Плагиара, по его словам, было жильё.

По дороге он беспрестанно болтал:

— Париж, если приглядеться, — самый серый из городов. Говорят, это белый город, но на деле он сер, как половая тряпка после мытья полов. Здесь женщины рожают только рыжих девочек. Менструации начинаются у них в пять лет. Первый аборт они делают в одиннадцать. А седеют к своему совершеннолетию и потом всю жизнь красят волосы. Поэтому тут ежегодно вспыхивают детские бунты.

Я уже привык к его словоизвержениям и радовался, что самому не нужно болтать.

Николай Васильевич продолжал нести галиматью:

— Идёшь по улице и вот: десятилетняя пигалица пишет «Песни Мальдорора» своей задницей. Я просто не знаю, куда смотреть. Тут всё откровенно до неприличия. Матери обожают, когда на них плюют дочери. Я недавно

встретил семилетнюю девочку, у которой тринадцать родимых пятен на теле располагались точно по вертикальной линии. И при этом она имела груди, ягодицы и бёдра зрелой женщины.

Я посмотрел на него сбоку: а не псих ли он?

Но психи мне всегда нравились.

Он молол языком:

— Один мой знакомый однажды изрёк: «Делай всё ночью, но читай днём». А Малларме добавил: «Поэзию должна окружать тишина». Правильно?

Тут мы зашли в винный магазин.

Николай Васильевич выхватил деньги у меня из рук и купил три бутылки дешёвого бордо.

3. Наконец мы добрались до его дома и взобрались по щербатой лестнице на чердак.

Квартира Николая Васильевича представляла собой узкую конурку, заваленную бумагами: горы бумаг, бумажонок, бумажечек.

Повернуться здесь было негде: в одном углу высились двухэтажные нары, в другом стоял стол с грязными тарелками, окурками и опять же бумажками.

Пространство между столом и нарами утопало в кипах бумаг.

В углу валялись пустые бутылки, от которых исходил кисловатый дух.

— Скоро уж ночь, ночь глубокая, — проворчал Плагиар, хотя за окном только спускались сумерки.

— Садитесь, милостивый государь, — сказал он, извлекая из кармана штопор и откупоривая бутыль. — Сволочи, они теперь используют пластмассу вместо подлинного пробкового дерева. Всё теперь ненастоящее — знания, люди, вещи, дома...

Пил он прямо из горлышка, а мне не предложил.

— Это не вино, а надругательство! Вот раньше было вино! Фалерно или напареули, например! Вы пробовали фалерно, милостивый государь?

Я сказал:

— Про фалерно у Пушкина есть стихи...

Николай Васильевич уставился на меня иронически:

— Что? Пушкин? А вы, я вижу, эрудит!

Он опять присосался к горлышку.

Тут я наконец рассмотрел бумаги, захламлявшие комнату.

Это были репродукции разных художников — листы, вырванные из альбомов, монографий, каталогов: Давид, Курбе, Делакруа, Энгр, Пуссен...

Некоторые страницы были изъяты из книг аккуратно, другие — варварски, так что уцелели только обрывки картин.

— Да, да, ночь, сынок, ночь глубокая, — опять забубнил Плагиар, утираясь рукой. — И в этой ночи глохнет великая весть. Великая, могучая...

— Какая же это весть? — спросил я.

— Какая? — вскричал он. — А вот какая! По земле пронеслось: ДЕТИ НЕ ХОТЯТ ССУЧИТЬСЯ!

Он посмотрел мне в глаза и насупился:

— Ты, сынок, меня не проведёшь. Думаешь, купил старику говняное винцо, пришёл к нему в хатку и будешь теперь хозяйничать? Шиш тебе!

Он сложил пальцы в фигу и показал мне с достоинством.

А потом, делая ударение на каждом слове, изрёк:

— ДЕТИ НЕ ХОТЯТ ПРОЗЯБАТЬ В ЖЛОБСТВЕ И НИЧТОЖЕСТВЕ. Вот какая весть пронеслась... и забылась, заглохла в ночи... Мужчины и женщины делают вид, что

никакой вести не было... Но я это так не оставлю... Я буду на этой вести настаивать... Я хочу, чтобы на свете были не только слова, которые я слышу каждый день, но и другие ещё... Понимаешь ты?!

Он выхватил листок из бесформенной груды и протянул мне.

Это была репродукция «Большой одалиски» Энгра.

— Видишь? — сказал Николай Васильевич. — Видишь, что он изобразил?

Я кивнул, хотя не понимал, что он имеет в виду.

Плагиар хмыкнул:

— Он свою одалиску со спины изобразил — эту красоту, это чудище, этот хребет небес. Неспроста со спины. Посмотри, какая спина! По этой спине можно определить всё, даже как динозавры ходили в своих лесах. Как они поднимали головы к небесам и ревели: «И-и-и!» По этой спине можно определить, как взревели реки времён...

Он вскочил с бутылкой в руке и продекламировал:

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадёт.
Я знаю, с каждым днём слабеет жизни выдох,
Ещё немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймёт тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.

Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно...

Он оборвал чтение и воззрился: понимаю я или нет? Кое-что я понимал, но далеко не всё.

А его снова несло:

— Гарольд Розенберг однажды заметил, что модернизм производит тревожные объекты, которые сами не знают, произведения искусства они или хлам. Это правильно... Но при чём тут я? И при чём тут Жан Огюст Доминик Энгр? Лучше скажи, что тревога является центральным принципом твоего существования! Но при чём тут великий Энгр? У него не тревога, а нега, Онега, покой! В качестве живописца он не превзойдён и не принадлежит ни к какому ограниченному течению — ни к академизму, ни к классицизму, ни к романтизму, ни к реализму — ни к чему... Так и надо, это и хорошо! Как вестник он на высоте... Как вестник он неподражаем и незаменим... Впрочем, его весть до сих пор не разгадана, как и весть Фёдора Михайловича... «Красота спасёт мир» — это, что ли, их весть?.. Но как эти слова понимать?.. Или, может, их не нужно понимать?.. Тертуллиан сказал: за вестью нужно следовать — и всё...

Он прикончил вино, так и не предложив мне глотнуть.

За окном сгущалась тьма.

— А ты был когда-нибудь в Катманду? — вдруг спросил Николай Васильевич.

— Нет.

— Кат-манду, Кат-манду! — пропел он. — Я всегда смакую название места прежде, чем его посетить. В голове пусто и только название: динь-динь-динь! А потом уже, вслед за названием, приходят пейзажи, сценки, какие-то идейки, если повезёт. А само место можно и не посещать. КАТМАНДУ — вот название, которое мне по душе. Я о нём думал давно, но место так и не посетил. Как ты думаешь: о чём это слово КАТМАНДУ, про что оно?

Я задумался, но он опять говорил:

— Так ведь очевидно: про КАТМАНДУ. Это слово ласкает слух, вот и всё. Поэтому лучше Катманду не посещать, а просто повторять: Катманду, Катманду, Катманду... Метла существует не для того, чтобы подметать. Метла существует, чтобы на ней летать...

И он залепетал:

— Катманду... Катманду... Катманду... Это место, где макаки разбрасывают какашки по всей стране... И никто им не мешает, никто на них не орёт... Никакая метла их не хочет мести... Катманду... Катманду... Катманду...

Баскский берет свалился с уха Плагиара, тяжёлые веки сомкнулись, голова упала на плечо, и он засопел.

А я вдруг почувствовал себя таким голодным и заброшенным, что чуть рубашку на себе не разорвал.

— Эй! — вдруг вскинулся старик. — Ты чего?.. Ты кто?..

И, не дождавшись моего ответа:

— Уходи прочь! Уже ночь! Сам видишь — я устал...

Глаза его были безумны, на губах закипала пена...

Он заорал:

— Ах, где те острова, где растёт трын-трава!

И вновь:

— Уходи! УХОДИ!

Я понял: с таким не поспоришь.

И ушёл — с некоторым облегчением даже, но и с позором.

Впрочем, ушёл я недалеко: решил переночевать в ближайшем сквере на скамейке.

Сквер — с укромной скамьёй под сиреневым кустом — оказался рядом.

4. Спал я скверно, а на рассвете проснулся в ужасе: кто-то тряс меня за плечо.

— Вставай! Вставай! У меня на сегодня план!

Это был Николай Васильевич Плагиар, и от него дурно пахло.

Он шевелил запёкшимися губами:

— Хемингуэй однажды дал совет молодым авторам: когда заканчиваешь писанину сегодня, обязательно знай, с чего начнёшь завтра. Это хороший совет. Но следовать ему я не могу. Всё вчерашнее — чушь. Идей в голове никаких. Но главное — не останавливайся никогда. Книги состоят не из идей, а из слов. Какой бы ни была исходная точка, финал будет хорош. Любое действие постыдно, лишь когда оно не закончено. Сегодня мы пойдём в Лувр, чтобы окончательно вглядеться в Энгра.

Лучше было бы мне ещё полежать, но Николай Васильевич торопил, и я последовал за ним в Лувр.

До такой свободы, чтобы ни за кем не следовать, я ещё не дошёл и, вероятно, никогда не дойду.

И вот что забавно: даже если я следовал за кем-то очень глупым и дурным, мне всё равно было хорошо.

Из прожитого я помню только лучшее, а плохое — нет.

Это свойство моей памяти изгонять дрянь — везение дурака.

5. Прежде, чем направиться в Лувр, мы уселись на террасе только что открывшегося кафе.

Николай Васильевич заказал сэндвич с салями и бутылку красного вина.

Когда сэндвич принесли, он извлёк колбасу из багета и с видимым удовольствием съел.

— А это тебе, — улыбнулся он, передавая мне оставшийся хлеб.

Платил опять я.

Потом мы гуляли по саду Тюильри.

Плагиара что-то беспокоило, и из прогулки вышла дребедень.

Он присел на скамейку, но через минуту вскочил и сказал:

— Ох-хо-хо! Ты, наверное, знаешь три самых главных слова в русской литературе?

Я посмотрел на него недоуменно.

— Не знаешь? Три слова: ЧЕЛОВЕКА УБИТЬ ЛЕГКО.

Когда он это произнёс, я тут же вспомнил, сколько раз хотел убить кого-нибудь: свою мать, своего отца, свою первую любовь Ларису Кузнецову, издателя Кудрявцева, художника Осмоловского и многих, многих других.

Я подумал, что Плагиар, возможно, бес.

Он, кажется, понял мою мысль, придвинулся вплотную и вызывающе дыхнул.

Запах ада, исходивший из его рта, чуть не сбил меня с ног.

Мы смотрели друг на друга во все глаза.

Его детски-старческое лицо было помято; мягкий безволосый подбородок выдавался вперёд бесформенным бугром; глаза без ресниц и бровей подслеповато мигали; мягкий вздёрнутый носик, усеянный чёрными порами, сально лоснился; бесцветные волосики, насквозь пропитанные жиром, жидкими прядями выбивались из-под нахлобученного берета; уши походили на две блямбы; рот, полуоткрытый и скошенный, придавал физиономии издевательский вид.

Затасканный костюм, облекавший фигурку Николая Васильевича, был порван в нескольких местах, но кем-то тщательно заштопан, а согнутые в коленях ноги всунуты в чёрные уродливые туфли с острыми длинными носками, надломленными и загнувшимися вверх.

Он смотрел на меня, а я на него, и мне вдруг подумалось: у нас одна физиономия.

— А ты, я вижу, предпочитаешь красивенькое, — душно и мокро прошептал Плагиар. — Поэтому я тебе не пара.

— Почему вы так решили? — смутился я.

И тут он забормотал, как сомнамбула:

— В иудейской пустыне проживали ессеи, которые своим замечательным образом жизни отличались от всех людей. Пустыня была ими выбрана из-за заботы о своей благости. Жили эти люди в пещерах, образовавшихся естественным образом. У них совсем не было женщин, от половых связей они отказались раз и навсегда. Денег не знали. Питались одними финиками. На поясе они носили маленькие лопатки для закапывания своих испражнений после отправления естественной надобности. Испражнялись же, уходя в пустыню по ночам. Место их обитания благоприятствовало целомудрию, и, сколько бы людей со всего света ни стекалось к ним, никто не мог в общину

войти, пока не были установлены его невинность и чистота. И пусть даже этот человек изо всех сил стремился быть допущенным, по божественному определению он всё равно уходил, если оказывался запятнанным в чём-то отвратительном. Так на протяжении неизвестного времени и существовало это племя, в котором царили безмятежность и согласие.

Я ловил каждое его слово, как будто это было предсказание оракула.

И уже думал: «Он не бес, а святой».

Потом мы отправились в Лувр, но Плагиар свернул за угол:

— Тут есть бар неподалёку, сначала туда.

В этом баре мы провели часа три, а в Лувр так и не попали.

6. Я запомнил людей в том баре на всю жизнь: в углу перешёптывались две загорелые бабы, снявшие с себя верхнюю одежду и оставшиеся в одних майках, из которых выпирали их прелести, сформованные в какой-то косметической клинике.

Посреди же бара за несколькими сдвинутыми столиками сидела компания брутальных мужиков в белых рубахах и цветных жилетах; они пили какао, хотя в центре стола торчала бутылка Rémy Martin.

Бармен за стойкой медленно перетирал бокалы и смотрел так, словно ожидал ограбления.

К моему удивлению, на стенах этого заведения висели обложки советского журнала «Огонёк».

Плагиар, кажется, ничего этого не замечал, а был погружён в себя.

Мы опять пили анисовую.

Наконец мой спутник заговорил:

— Всю свою жизнь я попадал в одну и ту же дурацкую ситуацию: тянулся к какому-нибудь человеку, а он мне по морде — хвать! Вот последний пример: недавно мне понравилась одна старушонка в кафе на бульваре Монпарнас. Она сидела одна и печалилась. Я присел к ней, попросив разрешения. Мне понравились седые завитки на её голове и тихая печаль в глазах. Я хотел выразить мою симпатию и прикоснулся к ней под столом — дотянулся ногой. Я старался притронуться как можно деликатнее. А она вдруг как закричит: «MERDE!» На меня все вокруг тут же уставились. А я, знаешь, терпеть не могу, когда пустое любопытство людей обращается на меня. А она всё своё: «MERDE! MERDE!» Как же тут не испугаться людей? Раньше я в таких случаях вскипал и атаковал обидчика. Но в этом случае решил не нападать, а попытался думать о чём-нибудь смешном. Но ведь чтобы думать, нужно какой-то образ в голове иметь. И у меня возник почему-то образ леса — тёмного, сырого, древнего. В таком лесу человек меняется — становится святым или в волка превращается. Лучше, конечно, совсем не якшаться с людьми, а просто сидеть в таком лесу и дрочить...

Сказав это, Николай Васильевич издевательски высунул язык и не произнёс больше ни слова.

7. Мы вышли из бара и побрели в сторону бульвара Ришар-Ленуар.

Небо внезапно потемнело; начал накрапывать дождь.

Плагиар молвил:

— Холодно. Нужно выпить коньяка.

Но я больше не хотел платить.

— Как это? — возмутился он. — Денег нет? Я положительно не в состоянии переносить этот отказ! Да ты

хоть понимаешь, с кем разговариваешь?! Я — последний из великих собеседников, я — осколок могучей традиции, давшей Гоголя, Лескова, Ремизова, Одарченко и Гингера... Я — всё, что осталось от русской словесности... Понимаешь ты это, залупа обрезанная?.. Денег нет?.. Укради, если денег нет!

И я действительно зашёл в винную лавку и украл бордо.

Мы спрятались под какой-то козырёк и опорожнили бутылку за пару минут.

А потом я зашёл в другой магазин и опять стащил.

Мы были уже на бульваре Ришар-Ленуар, рядом с домом Николая Васильевича, но он вдруг лишился сил.

Пришлось сесть на лавочку.

— Давай пить, — сказал он.

Выпил и вдруг спросил:

— А ты знаешь, кто такой Якоб Франк?

Я порылся в памяти:

— Да нет.

А он:

— В той витрине, когда я тебя встретил, ты рассматривал альбом Роберта Франка, да? Но куда важнее знать, кто такой Якоб Франк. Советую тебе сейчас же пойти в национальную библиотеку и посмотреть.

Он сказал это совсем слабым голосом, а затем лёг на скамейку и закрыл глаза.

К счастью, дождик перестал.

Обессиленный и больной, я прилёг на соседней лавочке и вскоре задремал.

8. Проснулся я от головной боли.

Стояла ночь.

Я вспомнил вчерашний день и застонал.

Потом нашёл глазами Николая Васильевича: он лежал на скамейке, вытянувшись на спине; изломанные носки его грязных туфель торчали вверх.

В тот момент он был мне ненавистен — захотелось его побить.

Но ненависть улетучилась, намерение отпало само собой.

Я подошёл к нему и посмотрел.

Он как-то переменился: лицо, днём хмурое и сморщенное, прояснилось; спина, сгорбившаяся от вечной ходьбы, выпрямилась; одна рука упала на землю, а другая лежала на груди.

Глаза его были открыты и смотрели ввысь.

Я испугался и потряс его за плечо.

Он был мёртв и уже успел окоченеть.

Похолодел и я.

А потом тихо и быстро унёс ноги с бульвара Ришар-Ленуар.

Полиция мне была не нужна.

Чёрт!

Я проспал его последний вздох, как проспал смерть всех людей, которые были мне близки.

Но благодаря Плагиару я узнал, кто такой Якоб Франк... и кое-что ещё.

ДВА ЗАБЫТЫХ СЛУЧАЯ

Сегодня зайдут, Бог даст.

Леон Богданов

1. Маленький человек шёл по Брюсселю, как Наполеон после Ватерлоо.

Крошечный грязный человечек в задрипанном костюмчике, шепчущий что-то в остервенении.

Что он шептал, какие метал молнии?

В любом случае: судьба ему изменила, а он её не простил.

В нём было единственно подлинное величие — попранного героя, поруганного гения.

Этим он отличался от прохожих, озабоченных лишь тем, чтобы поддерживать свою тупую презентабельность.

А ему плевать было на видимость — он в ярости отбрасывал ничто в ничто.

Я с минуту разглядывал его, а потом догнал и тронул за рукав:

— Сир, позвольте мне быть вашим маршалом Неем.

Он мгновенно отреагировал:

— Ах, это вы, храбрейший из храбрых, герцог Эльхинген, князь Москворецкий мой.

И обнял меня, как брата.

Я подумал, что влип, потому что от него плохо пахло.

Но это было лишь мгновение — эта убогая мысль.

2. Однажды в Палермо я шёл по пустынной улице и вдруг вижу: мальчуган.

Он был немножко великоват для мальчика, очень широк в поясе, с громадным обвислым животом — и почти лыс.

Он был похож… затрудняюсь сказать, на кого.

— Кто ты? — спросил я, подошедши к нему.

Он пах мятной жевательной резинкой, а под ней — чесноком.

И вдруг он обнял меня своими пухлыми руками, обхватил мою спину крепко-крепко и прошептал:

— Рара? Папочка?

ДЕВУШКА С СОБАЧКОЙ

День этот очень спокойный
и пустой, не занимаемый моей
персоной.

Леон Богданов

1. В Цюрихе живёт одна девушка, которой я поклоняюсь.

Вернее, я ей не поклоняюсь, а просто её созерцаю.

Каждый день я прихожу в маленький квадратный парк, где жду её.

Мне нравится залезть на скамейку с ногами и представить, что это — моё жильё.

Сижу, сняв ботинки и разминая босые ноги, как вагабунд.

И твержу про себя мантру: «Хорошо всю оставшуюся жизнь просидеть в парке и смотреть на деревья. Хорошо не ходить на работу, не иметь никаких занятий и планов. Хорошо не хотеть ни лимонад, ни мороженое, ни кофе. Хорошо не читать Ласло Краснахоркая, не смотреть кино Тарантино, не посещать Кунстхауз...»

2. А та девушка приходит в парк с собачкой — черно-серой дворняжкой.

И я точно знаю, что, кроме этой кудлатой твари, у неё никого нет на всём белом свете.

Откуда я это знаю?

Да так — просто вижу.

У каждого жителя Цюриха есть машина или велосипед, а у неё нету.

У каждого жителя Цюриха есть родственники и знакомые.

А у неё нету.

Только эта собачка, сигареты и банка пива.

Девушка выпячивает живот и слегка хромает.

Её волосы торчат из-под старой бейсбольной кепки.

Она всегда одета в ту же одежду: клетчатую рубаху и потёртые джинсы.

Она всегда хромает.

3. Вот она входит в тенистую аллею, где я сижу на скамейке.

Она тоже садится — на соседнюю скамейку!

Она достаёт из холщовой сумки банку пива.

Она открывает банку и прикладывается к ней губами.

А потом достаёт из кармана сигареты.

Со своего места я не вижу, какая это марка.

Она вытряхивает из пачки белую палочку, вставляет в зубы, подносит к ней зелёную пластиковую зажигалку.

И с наслаждением курит.

4. Я смотрю на неё — так, чтобы не потревожить своим взглядом.

Я смотрю на неё и всё забываю.

5. На соседней скамейке девушка допивает пиво.

Обеими руками она сминает жестяную банку.

И со всего размаха бросает.

Собака бежит за банкой — чёрно-серая дворняжка.

Она выхватывает банку из травы и приносит обратно.

Девушка вновь замахивается и кидает.

Собака во весь дух мчится за банкой.

Притаскивает её девушке, а та опять бросает.

Это занятие длится неизвестно сколько, как и моё сидение на скамейке.

Я смотрю на них, погружаясь в смотрение всё глубже.

Я знаю: мне это никогда не прискучит.

6. А люди проходят мимо.

Спешат в парикмахерскую, в супермаркет...

Идут домой — поесть, проверить и-мейлы, почитать книгу...

Дети кричат, родители присматривают за ними...

Кое-кто играет в шары и настольный теннис...

А мы с девушкой никуда не спешим, ничего не кричим, ни во что не играем.

Я сижу и смотрю на неё, а она бросает собаке банку.

А собака бежит и приносит.

7. Почему она бросает эту жестянку?

На этот вопрос нет никакого ответа.

Просто у неё такой позыв, такая потребность.

А у собаки потребность приносить банку.

Это у них такая забава.

Она швыряет банку и ждёт, когда её принесёт собака.

Она забрасывает банку всё дальше.

А я сижу на скамейке, обхватив руками голые ступни, и смотрю на их забаву.

Мне хорошо, просто чудно.

Я не хочу подойти к девушке и задать вопрос вроде:

— How are you?

Я не хочу знать её имя.

Никаких вопросов.

Ни ей, ни себе, ни собаке.

Ни вопросов, ни ответов.

Просто сидеть на скамейке и смотреть на них — вот наслажденье.

Просто сидеть, смотреть и ни о чём не думать.

Когда я сижу так, то чувствую: я спасся.

Даже не чувствую, а знаю: спасся, спасся, спасся.

Содержание

Литературно-художественное издание

Александр Бренер

Заговор головоногих. Мессианские рассказы



Художественный редактор *Павел Лосев*
Редактор *Вадим Левенталь*
Корректор *Антонина Семенова*
Компьютерная верстка *Наталии Ремизовой*

Подписано в печать 04.05.2020. Формат 84 х 108/32
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 11,76. Тираж 1000 экз. Заказ А-1045.

ООО ИД «Городец-Флюид»
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 4 А
тел.: (985) 8000 366
www.gorodets.ru
e-mail: info@gorodets.ru, levental.bookshelf@gmail.com

Интернет-магазин: gorodets.ru

Отпечатано в типографии филиала
АО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс».
420066, Россия, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru

Что такое подлинность и как ее обрести — этот вопрос волнует Бренера не на шутку, и проявленная искренность вызывает несомненную читательскую симпатию.

Александр Секацкий

...бескомпромиссный подход автора, напрочь отрицающего ценности консьюмеристско-капиталистической реальности, в которой мы живем.

Владимир Козлов

...один из самых громких голосов в затянувшейся панихиде по XX веку, когда культура и искусство могли претендовать на то, чтобы определять сознание и картину мира, а потом вдруг превратились в не поспевающую за реальностью пошлую глупость.

Наташа Романова



ГОРОДЕЦ

ФЛЮИД

www.gorodets.ru



АЛЕКСАНДР БРЕНЕР ЗАГОВОР ГОЛОВОНОГИХ

